Prix 8 Francs № 220 Avril 1970

PÉRIODIQUE

ВОЗРОЖДЕНИЕ

«LA RENAISSANCE»

НЕЗАВИСИМЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 220

АПРЕЛЬ 1970 ГОДА

c/o. S. S. Obolensky
Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПЕРЕД СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ. Редакционная статья. 5

Тамара ВЕЛИЧКОВСКАЯ. Вороний Холм. (Оконч). . 7

Зинаида ГИППИУС. О Бывшем. (Очонкание). . . . 53

Николай АРСЕНЬЕВ. Выработка мировоззрения. Годы в Университете. (1906-1910). 76

Александр ВАРДИ. Ленин, ленинцы, ленинизм и развитие советской науки. 99

П. КОВАЛЕВСКИЙ. Русский Париж пол века тому назад. 119

Л. ДОМИНИК. Открытое письмо по поводу неуспеха « Леса ». 123

Книги. Николай Вл. СТАНЮКОВИЧ. Н. Ульянов, « Под каменным небом ». Наталья Горбаневская, « Стихи ». 127

Отклики наших читателей: С. ВАРГУЛЕВИЧ. Еще о выставке Марка Шагала. Марина БАРСОВА. Из письма в Союз. . . . 132

Б. БОРИСОВ. По « ту » сторону. 137

Я. Н. ГОРБОВ. Литературные заметки: Алла Кторова. « Лицо Жар-Птицы ». 144

Кн. С. ОБОЛЕНСКИЙ. О спектре современной России. 152

« LA RENAISSANCE »

ВОЗРОЖДЕНИЕ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Под редакцией

Кн. С. С. ОБОЛЕНСКОГО и Я. Н. ГОРБОВА

№ 220

АПРЕЛЬ 1970 ГОДА

c/o. S. S. Obolensky
Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

VOZROJDENIE

« LA RENAISSANCE »

REVUE LITTÉRAIRE ET POLITIQUE

Comité de rédaction :

PRINCE S. OBOLENSKY ET J. GORBOF

№ 220

AVRIL 1970

c/o. S. S. Obolensky
Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

Всю переписку просят временно направлять по адресу:

Mr. S. Obolensky. Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

Статьи непринятые к напечатанию не возвращаются, и Редакция не вступает в переписку по их поводу.

Перед Светлым Праздником

По недавно опубликованным данным ЮНЕСКО, уже в период подготовки к теперешним торжествам, в 1968 г., Ленин по числу переводов на разные языки впервые «догнал и перегнал» Библию: 225 переводов за год, против 187 переводов Библии (на третьем месте — Шекспир, со 135 переводами).

Это, конечно, не случайное «соревнование». К столетию рождения (мы чуть не написали: рождества) великого вождя и учителя, на 53-м году Великой социалистической октябрьской революции, предрассудки и суеверия былых времен должны меркнуть перед новым, ленинским культом. Подтвердить это надлежало цифрами, в том числе теми, которые мы только что привели.

Некоторые пояснения к ним, однако, следует дать. В отличие от ленинского, наше Священное Писание (сначала — ветхозаветное) стали переводить уже более двух тысяч лет тому назад и в течение двух тысячелетий его переводят на всё новые и новые языки, так что можно даже удивиться тому, что в 1968 г. понадобилось еще 187 его переводов; а на каком числе языков, какими тиражами и с какими целями через две тысячи лет будут издавать Владимира Ильича, вряд ли могут предсказать даже в ЦК КПСС. Кроме того, при более точном рассмотрении цифр выясняется, что из 225 переводов сочинений Ленина 131 перевод сделан в Советском Союзе, где вся книжная продукция планируется согласно директивам того же ЦК, притом так, что христианское (или древнееврейское) Священное Писание там не то что переводить заново, но и переиздавать по старым изданиям невозможно. Даже туристы, провозившие на советскую территорию заграничные издания Библии, не раз имели неприятности с известными органами государственного управления.

Одним этим уже опровергаются те «железные законы развития», из которых последователи Ленина выводят свое право на неограниченную власть. Эта власть, политическая, полицейская, экономическая, сосредоточена в их руках так, как никогда раньше в истории, и тем не менее они боятся пропустить внутрь страны несколько лишних экземпляров Библии или Евангелия, проявляют самый мелочный страх перед всем, что может поддержать «пережитки», которые по «железным законам» должны «отмереть» сами собой — и однако не отмирают.

Как сотни лет тому назад, в самые дни Ленинского праз-

днования по всей Русской земле совершаются страстные службы. И не то удивительно, что храмов, где они совершаются, осталось сравнительно немного. Поразительно то, что после полувекового насилия, и прямого физического, и духовного — яростного насаждения ленинской антирелигии при вынужденном молчании несогласных с ней, — уцелевшие храмы теперь всегда переполнены до отказа. И еще более поразителен беспрестанно возрастающий за последнее время процент молодежи среди их посетителей. Об этом явлении приходится писать даже в партийной печати, оно особо отмечается такими авторами Самиздата, как ныне заточенный А. Краснов-Левитин, и мы знаем из прямых свидетельств « оттуда », что из года в год и почти даже из месяца в месяц оно всё больше бросается в глаза. Вопреки всем усилиям власти, таково направление не мнимого, а действительного развития.

И причины его, быть может и непонятные ленинцам, известны вполне. Их антирелигия, выдававшаяся за научную истину, уже и с точки зрения науки давно оказалась несостоятельной. Что это так, очень многие знают уже и в России, хотя там еще невозможно напечатать то, что в этом нашем выпуске пишет А. Варди. А на духовные и нравственные запросы людей эта анти-религия вообще никогда не могла ответить. Убивавшая дух и нравственно калечившая человека, она в конце концов тонет в « скучище неприличнейшей », которая и есть по Достоевскому одно из самых несомненных признаков адского начала. От этой адской тоски люди, в особенности молодые, и бегут туда, где ощутительно действует Начало, подающее и преображающее жизнь : в храм. И вопреки всем запретам заново открывают сокровища, вдохновленные тем же животворящим Началом, — подлинные сокровища русской духовной культуры, Достоевского, Вл. Соловьева, о. Павла Флоренского, о. Сергия Булгакова, Бердяева, чтобы назвать только тех, кого тот же А. Краснов упомянул за последнее время и чьи имена вообще всё настойчивее упоминаются в откликах, приходящих из нашей страны.

225 переводов ленинской скуки в этом ничего не могут изменить. В самой России, исход главной битвы, протекающей в области духа, уже выясняется. Сколько бы ни было казенного шума в темный праздник 22 апреля, — всё равно через три дня после этого по России прозвучит подлинный возглас победы, победившей мир :

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«В»

Тамара ВЕЛИЧКОВСКАЯ

Вороний Холм

(Повесть)

(Окончание)*)

Утром, принеся почту, консьержка задержалась на пороге — Господину Дюшену стало хуже... Мадмуазель Мари ищет кого-нибудь чтобы находиться при больном, пока она на службе; сейчас там сиделка, но это стоит слишком дорого... Я думала что может быть ваш молодой друг мог бы... вы говорили, что он ищет работы?

— А что надо делать? — спросил я. — Ничего сложного. Давать по часам лекарство, почитать вслух, если захочет больной. Ну, помочь повернуться... а если станет хуже — вызвать доктора. У них есть телефон.

— А что же Нини? — спросил Стрего. Консьержка только махнула рукой. — На нее нечего рассчитывать, у нее репетиции, всякие рандеву, да и вообще... вы ее знаете. — В словах чувствовалось осуждение.

Я сказал, что подумаю и вечером дам ответ.

— Нет необходимости браться за такую работу, Саша, — ласково глянул на меня Стрего, когда старуха ушла. — Подождем чего-нибудь более подходящего...

Но мне казалось, что я не в праве отказываться от какого бы то ни было заработка. По крайней мере это здесь же, в доме. Выслушав мои доводы Стрего промолчал и посмотрел на меня внимательно. Под вечер я решился и дал свое согласие. Старуха обрадовалась : — Вот это хорошо, я скажу Мадмуазель Мари как только она вернется. Она служит стенографисткой-машинисткой на заводе Калор, это серьезная девушка...

Вечером к нам зашла Мари, некрасивая, усталая особа, лет 30-ти. Повела меня наверх познакомить с отцом. В квартире обставленной старомодной мебелью пахло лекарствами и болезнью. На белой подушке я увидел заостренные желтые черты, закрытые глаза, впалый рот...

— Папа заснул, — шопотом сказала Мари, — пусть спит...

Она дале мне несколько указаний и мы условились что завтра я поднимусь к больному около 10-ти утра.

---

*) См. « Возрождение » № 219.

Пожимая мне руку на пороге, Мари печально сказала : — Бедный папа, он еще не стар, всего 54 года, а выглядит стариком. Он давно хворает. В госпиталь ни за что не хочет... Мы меняли врачей; они говорят, что это на нервной почве. Если папа будет брюзжать, не обращайте внимания, он по временам очень страдает. Около полудня зайдет сестра милосердия чтобы сделать вспрыскиванье. Ну, спокойной ночи, я так рада, что вы согласились. А вот ключ...

Стрего обо всем меня расспросил подробно. Я решил, что раскраской младенцев буду заниматься рано утром и потом вечером, после возвращения Марии. Надо вставать пораньше.

Старик был со мной особенно ласков и грустен. Я заметил, что в таком настроении он обычно начинал говорить об Эллен. Так и вышло.

— За Эллен многие ухаживали, — начал он. — К 17-ти годам она стала настоящей красавицей. Ей предлагали стать манекеном, приглашали сниматься в кино... Но она думала только о музыкальной карьере. Подрабатывала немного уроками музыки с малышами. Характер у нее выработался одновременно веселый и серьезный, что и привлекало и отпугивало молодежь. Эллен одним взглядом, одним словом умела поставить на место самых развязных. Ей было бы легко сделать то, что называется « хорошей партией ». Долгое время за ней ухаживал единственный сын богатого шелковика, несколько раз делал предложение. Но он ей не нравился и она отказывала. Мне она всё поверяла как другу, иногда спрашивала совета, я ведь был на 20 лет ее старше. Мог бы быть ей отцом, но...

Стрего помолчал. — Должен вам признаться, Саша, что несмотря на разницу лет, у меня одно время была надежда, что Эллен могла бы меня полюбить по настоящему. Она очень ценила мою живопись и радовалась нашей духовной близости. Это была совсем особенная девушка... В молодости я пережил горький опыт и думал, что никогда больше не смогу любить, — но к Эллен у меня выросла запоздалая и беззаветная любовь. Боясь показаться смешным, я скрывал свое настоящее чувство под видом большой дружбы, хотя Эллен, должно быть, кое-что подозревала. Однажды она сказала, что любит меня как родного. Как я был счастлив в тот день... Над своими поклонниками она лукаво и добродушно посмеивалась, у нее были зоркие глаза и умное сердце. И я знал, что оно свободно...

Потом я стал замечать, что Эллен загрустила, часто задумывалась, но об этих мыслях мне уже не говорила. В ней появилось что-то новое. Она еще похорошела, стала больше заниматься своей наружностью, на ней и самое простое платье вы-

глядело как произведение лучшего портного. Несколько раз я видел, что Эллен хочет мне что-то сказать, но колеблется. Наконец она пригласила меня к себе на чашку чая и прибавила : — Хочу, чтобы вы встретились с одним моим новым знакомым и сказали мне что вы о нем думаете. — Мое сердце ёкнуло.

Новый знакомый оказался высоким стройным молодым человеком. В прямых чертах лица сквозили воля и решимость, взгляд — открытый, честный, возле губ — ранние складки горечи... И я сразу увидел, что он без памяти влюблен в Эллен.

Когда он крепко пожимал мне руку, Эллен сказала : — Поль, я рада познакомить вас с Альдо Стрегони, моим самым старым и лучшим другом, о котором я вам уже столько рассказывала. — Ему обо мне рассказывала, а мне о нем нет, — с грустью подумал я.

Разговор за чаепитием шел о том, о сем. Я никак не мог определить к какому социальному классу принадлежит Поль. В нем чувствовалась довольно большая культура. Он знал и понимал музыку, цитировал Бодлера, интересовался историей, видимо, много читал... но руки у него были загрубелые, а в разговоре иногда прорывались простонародные словечки.

Когда он ушел, Эллен пытливо на меня посмотрела. — Ну что вы о нем скажете?

— Он производит впечатление прямого и хорошего человека. А чем он занимается?

Она ответила покраснев : — Служит механиком на заводе. Его жизнь сложилась трагически. Он русский эмигрант. Его отец был убит на войне 1914-го года, а он с матерью в 20-ом году оставил родину. Ему было всего 10 лет... Через 5 лет он остался круглым сиротой. Ему помогли кое как окончить среднее образование. Он жил у чужих и рано узнал вкус « горького хлеба изгнания ». В 18 лет Поль поступил на завод... Но он из хорошей семьи. И он прекрасный поэт... Если бы вы знали какие у него есть чудесные стихи!

Глаза Эллен трогательно сияли...

Охотно верю, ответил я, — жаль бедного Поля. Но это сломанная жизнь с печальными перспективами. Вряд-ли он сможет добиться лучшего положения в жизни... разве что женится на богатой?

Эллен вспыхнула и сказала, что Поль не из таких... Потом решительно перевела разговор на другие темы, но я чувствовал, что ее мысли далеко. С этого дня я заметил у Эллен какую-то настороженность и отчужденность. Со мной стала реже встречаться, как бы избегая меня. А во мне всё росли опасения... И не даром.

— Пора спать, Саша, — закончил рассказ Стрего и начал стелить постель.

Утром я встал в 6 часов и поработав над раскраской, поднялся к больному. Он не спал, повернул голову и внимательно посмотрел.

— Доброе утро! — сказал я подходя к постели. — Как вы себя чувствуете?

— Это вы и есть Саша? Да вы еще совсем ребенок... И как только родители отпустили вас одного?

Несколько смутившись, я промолчал. Приготовил положенное лекарство и подал. Дюшен послушно проглотил. Подогрев, я принес ему легкий чай с сухариками.

— Принести вам газету? — Он кивнул головой и улыбнулся. Выйдя на улицу я с наслаждением вдохнул свежий утренний ветер. В этом городе он почему-то часто пахнет морем. Киоск находился поблизости. Я купил Лионский « Прогресс » и поднялся.

Почитать газету? спросил я, Дюшен кивнул. — Что именно вас интересует? — Он указал. Я начал читать... — Медленнее, медленнее... — перебил меня больной раздраженно : — А то вы тараторите так, что я ничего не разбираю... — Я стал читать медленно, поглядывая на старика. Он слушал закрыв глаза и мне несколько раз казалось, что он заснул, но как только я замолкал, Дюшен открывал глаза и смотрел вопросительно... Так я прочитал всё что он указал и больной наконец уснул. Я проглядел газету, стараясь не шелестеть листами, монотонно тикали часы, на подоконнике неистово чирикали воробьи... Я задумался.

Вдруг Дюшен спросил : — А вы часто пишете своим? Родители-то наверно беспокоятся, а вы, молодые, все легкомыслены, со стариками не считаетесь... Я вот, хотя Мари со мной, всегда тревожусь пока она не вернется... Мало-ли что может случиться. Вы пишите домой почаще... Помогите-ка мне приподняться, чтобы сесть.

— Выше, выше... — попросил Дюшен, — возьмите подушку с кресла.

Горячие худые плечи прижимались к моей груди. Как слаба бедная человеческая плоть!

Наконец больной устроился удобно. — Устал... — сказал он закрывая глаза. Отдохнув он попросил освежить его лицо и руки. Я нашел миску и губку...

— Спасибо, так-то лучше, — удовлетворенно сказал старик.

Кто-то постучался. Рано для сестры милосердия — поду-

мал я, открывая дверь. Вошла Нини. — Здравствуйте, — сказала он весело. Подведенные глаза вызывающе блестели.

— Кто там? — спросил больной. — А, это ты, Нини... Как видишь, я еще жив. Не беспокойся, когда умру, тебе сообщат.

— А я нахожу, что у тебя вид гораздо лучше, чем когда я заходила последний раз.

— Давно это было, — укоризненно сказал отец. — Тебе ведь всегда некогда...

— Ты несправедлив, папа, — сам знаешь какая у меня хлопотливая жизнь... Вчера легла спать в три часа ночи.

Он только махнул желтой рукой и закрыл глаза.

— Моя комната на верхнем этаже, — зашептала Нини... — Если что нибудь надо, поднимитесь. — Папа всегда так, если не навещаю — обижается, а зайду — сами видите, как принимает.

Я промолчал. — До скорого, Саша, — бегу на репетицию. Под вечер опять наведаюсь. Если папа будет брюзжать, добавила она на пороге, — вы с ним построже... иногда полезно не потакать.

Я отвел глаза, всё в этой девушке мне было неприятно. Хлопнула дверь.

— Ушла! — произнес старик, пожевав губами.

Я посмотрел на часы, подошло время давать следующее лекарство. Вскоре пришла сестра милосердия, сделала нужный укол. Все движения этой спокойной женщины были так четки и уверены, что я залюбовался ими... Больной ничего не почувствовал; увидев, что я отвернулся когда шприц готовился пронзить тело, сестра улыбнулась. — Не привыкли? Это совсем не больно...

Дюшен смотрел благодарно и делал то, что от него требовалось. Проводив сестру до двери, я не мог удержаться чтобы не спросить : — Скажите, вы не тяготитесь вашей работой? Ведь вы целый день видите только страдания...

Она удивилась. — О нет, я люблю свою работу. А страданья? Да ведь я же их облегчаю!... Их повсюду много, и телесных, и душевных, но вы еще слишком молоды чтобы это понять и примириться...

После ее ухода я покормил больного какой-то кашкой, с вечера приготовленной Мари. Он поел с аппетитом и спокойно задремал. Тогда я спустился и мы со Стрего позавтракали. — Не трудно вам, Саша? — заботливо спрашивал он, но я его успокоил и вскоре опять поднялся, захватив с собой томик Мопассана, найденный среди книг Стрего.

Как ни странно, но время до прихода Мари прошло довольно быстро : я возился с больным, читал то вслух, то про се-

бя, слушал его болтовню, подавал лекарство... Самым трудным для меня было выносить затхлый, больничный воздух в квартире, так и хотелось распахнуть окна, дать дорогу солнцу и весенному ветру, но Дюшен капризничал, находя, что откуда-то дует, хотя всё было закрыто. Пока больной дремал я выбегал на улицу проветриться. Темные окна домов смотрели на меня с немым упреком. Я доходил по улице Суффло до набережной и, поглядев на зеленое течение Соны, шел обратно.

К вечеру больной приободрился, поглядывал на часы, попросил его причесать, — ожидал Мари... Несмотря на мое прежнее отталкивание от всего немощного и старого, к Дюшену я испытывал жалость, почти нежность, он был так похож на беспомощного ребенка.

Мари пришла нагруженная покупками, не раздеваясь подошла к отцу. — Ну как? — Лучше, лучше... — радостно ответил он, — сегодня почти не болело и мне хочется есть.

Вздохнув с облегчением, она пошла хлопотать на кухню. Там стала меня расспрашивать вполголоса о том как прошел день, поблагодарила меня, крепко сжав руку на прощание. — До завтра, Саша!

Дома я застал Стрего за работой. На мольберте стоял начатый этюд какого-то пейзажа. Намечался гористый берег, кипарисы, озеро...

— А я тут поработал. По старым зарисовкам пишу «лаго Маджоре». Лет пять тому назад я провел два месяца в Локарно, люблю эти места... Вы устали, Саша?

— Нет, — ответил я и сказав это вдруг почувствовал, как устал... Но вечером, всё же, одолел свою порцию младенцев.

Стрего рассказывал о Локарно — об огнях, отраженных в озере, о белых вершинах, о розовых магнолиях... — там всё пропитано Италией — оживленно говорил он. — Повсюду итальянская речь, на автомобиле меньше двух часов до итальянской границы... Вы там бывали?

Но я мало что видел в своей жизни.

— Это хорошо, — значит, у вас впереди целый ряд замечательных открытий и впечатлений, завидую вам...

Дай-то Бог!

На следующее утро я нашел Дюшена в гораздо лучшем состоянии. Он бодро меня приветствовал и сказал, что провел хорошую ночь. Позавтракав попросил его пересадить в кресло — надоело лежать.

Я положил ему плед на колени и долго возился с подушками... Наконец он успокоился и попросил ему почитать газету; слушая подремывал... Я понижал голос, потом смолк, боль-

ной продолжал мерно дышать. Снова слышалось щебетанье воробьев и тиканье часов. Меня тоже стало клонить ко сну... Открыв глаза я увидел, что больной смотрит на меня улыбаясь. — Устали, мой мальчик? А я на вас смотрю и думаю о ваших родителях... Они, должно быть, крепко вас любят. У вас есть братья и сестры? — Нет, я единственный сын. — Старик поглядел испытующе. — А сами вы по ним не скучаете?

— Скучаю, — откровенно признался я. И правда, как бы я хотел снова очутиться дома, обнять мать, всё объяснить отцу... Но вернуться ничего не добившись значило бы признать свою слабость и ошибку, самолюбие не пускало.

Опять забежала Нини. Переменила прическу, вместо шиньона распустила волосы по плечам. Так ей, пожалуй, больше шло.

— Примерная дочь, — усмехнулся старик. — Вижу теперь тебя каждый день. Когда лежал совсем один, не заходила, а когда со мной Саша, заходишь... И на том спасибо.

Она только вздернула плечи. Уходя спросила меня: — Вы любите танцевать? — Совсем не люблю и не умею, — решительно ответил я.

— Очень жаль, — поджала она губы. — Вы слишком серьезны... Надо же развлекаться.

— Каждый развлекается по-своему, — сказал я спокойно, надеясь таким ответом отбить у нее охоту приставать. Но я ошибался, моя сдержанность ее как будто подзадаривала, она продолжала делать глазки и кокетничать.

После ее ухода, Дюшен сказал вздохнув: — Мы с Мари ее избаловали всё ей спуская... Жалели, что так рано потеряла мать, и баловством испортили девочку, она выросла эгоисткой... Мир погибает от эгоизма, Саша... Попомните мои слова — именно в нем корень всех зол.

День прошел как вчерашний. Я то укладывал Дюшена в постель, то опять пересаживал в кресло, больному явно становилось лучше. Так прошла неделя и, к моему удивлению, прошла довольно быстро. За это время Дюшен настолько приободрился, что доктор разрешил ему встать и даже выйти на несколько минут на улицу. Это произошло в воскресенье, когда Мари была дома. Самым трудным было одолеть лестницу; лифта в доме нет. Но, с помощью перил и моей, Дюшен справился со ступенями. Внизу мы с Мари подхватили его под руки и довели до угла. Старик щурился от солнца, беспомощная улыбка застыла на губах, передвигался он как ребенок, который учится ходить; но всё же мы дошли до набережной и усадили его на скамейку. Он смотрел на воду, на прохожих, на зеленые холмы и радовался.

— А я уже думал, что больше никогда этого не увижу... — Мари ласково хлопала его по руке. — Все будет хорошо, папа... Через несколько дней станешь совсем молодцом.

И действительно, через неделю Дюшен окреп. Мари, краснея, передала мне конвертик и сказала : — Мы вам так благодарны... Заходите к нам, пожалуйста, запросто, по-дружески, мы с папой вас полюбили.

В конверте оказалось денег больше, чем я предполагал, Мари заплатила щедро. Но я опять лишился работы. За это время Нини забегала к отцу ежедневно на несколько минут. На меня смотрела томно, но больше никуда не приглашала.

Однажды вечером Стрего досказал мне историю Эллен. После того как Поль сделал ей предложение, Стрего, на правах старого друга, поговорил с ним наедине. Сделал он это по тайной просьбе родственников Эллен.

— Что вы можете дать Эллен кроме своего сердца? — спросил Стрего у Поля. — Ваше социальное положение не блестяще... Перед вашей женой встанут все житейские заботы связанные с бедностью и это погубит карьеру молодой пианистки, а у нее все данные в ней преуспеть — незаурядный талант, большая трудоспособность и любовь к музыке. Ваш долг сойти с ее дороги и не стать помехой. — Но я не могу жить без нее, и она меня тоже любит... Стрего ответил, что девичье сердце изменчиво. — Эллен мечтательна и неопытна, она не представляет себе всех житейских трудностей связанных с замужеством. Это ее первая влюбленность, она пройдет... Эллен утешится музыкой, в ней она обретет новые силы, а ваша любовь и жертвенность оставят в ее сердце теплый свет и благодарность... Обдумайте мои слова. Вы увидите, что я прав, и поймете свой долг... Вы человек прямой и честный и вы не сможете не согласиться со мной.

— Скажите, спросил Поль побледнев, эти слова — только ваши, или они вам были подсказаны? — Стрего признался, что и семья Эллен думает так же, как он... Тогда Поль встал. — Вы правы, благодарю вас... но, Боже мой, как это тяжело. Губы его тряслись, он пошел к выходу отвернув лицо. Стрего положил ему руку на плечо. — Будьте мужчиной, я верю в вас. — Через несколько дней Поль уехал оставив Эллен краткое письмо, где он просил его забыть, понять и простить...

Эллен примчалась к Стрего в слезах. — Это вы наделали, Альдо... вы нам никогда не сочувствовали. Это вы его уговорили уехать... Я этого не перенесу... Она так плакала и горевала, что сам Стрего начал сомневаться в своей правоте. Чувство Эллен оказалось сильнее, чем он мог предполагать, но время

поможет, думал он. С тех пор Эллен очень к нему изменилась. Стала замкнутой, утеряла свою детскую жизнерадостность и вместо того чтобы всецело отдаться музыке, как будто бы от нее оттолкнулась. Работала меньше; в ее исполнении, попрежнему блестящем по технике, появилась некоторая жесткость, утратилось нежнейшее тушэ...

Только через год Стрего получил письмо от Поля, где он спрашивал об Эллен. О себе написал кратко — живет в Париже, работает в какой-то конторе. Стрего ответил сдержанно и никому не сказал о полученном письме, но почему-то сохранил его.

Но случилось так, что Эллен вскоре заболела воспалением легких и болезнь обострилась. В жару девушка металась, бредила и звала Поля, а когда приходила в себя, упрямо повторяла, что не хочет выздоравливать, не хочет больше жить. Доктор не скрывал опасности положения, близкие потеряли голову. И тогда Стрего, посоветовавшись с ними, написал Полю и попросил приехать. Старик не присутствовал при встрече, но он знал, что приезд Поля может сделать чудо. Так и случилось. Вскоре Эллен начала поправляться и через несколько месяцев они, поженившись, уехали из Лиона. Стрего понял, что их любовь была сильнее всего и что наши человеческие расчеты и соображения перед ней ничто. Первое время Эллен много писала Стрего, потом письма стали реже, затем он стал получать только поздравления к праздникам...

Из какой-то заветной шкатулки старик извлек пачку писем, тщательно завернутых и перевязанных ленточкой.

— Здесь все ее письма. Они сложены по датам и годам... Если со мною что нибудь случится, Саша, возьмите эти письма. Прочитайте, а затем или уничтожьте или бережно сохраните... но не бросайте их как хлам. Впрочем, вы и сами этого не сделаете...

Я конечно пообещал. За этой историей, в конце концов довольно банальной, стояла та большая и прекрасная любовь, о которой я всегда мечтал. Так любили друг друга Ромео и Джульетта или Тристан и Изольда, но в наше время я не встречал таких чувств.

Вечером неожиданно забежала Нини. На этот раз ее визит оказался деловым — она предложила устроить меня статистом в оперетке, где выступала сама, как танцовщица. Посулила 15 франков за вечер. Мне надо быть на сцене два раза, среди прочих « пейзан ».

— Совсем не сложно, — говорила она. — Надо веселиться, пить воображаемое вино, обнимать соседку... Вам всё укажут. И с вашей наружностью вас выдвинут вперед.

Мой сценический опыт ограничивался школьными выступлениями. Но предложение Нини мне показалось заманчивым. Стрего слегка хмурился, но я согласился и поблагодарил. Ведь это даст регулярный заработок и такая работа лучше чистки мастерских. Мы условились, что Нини зайдет за мной завтра в 10 часов утра.

После ее ухода Стрего вздыхал и нервничал, даже немного брюзжал, чего с ним не случалось прежде. Уже улегшись и потушив свет он продолжал бормотать и ворочаться. Мне тоже не спалось. Наконец он заговорил : — Всё думаю, что вы попадете в среду вам совсем не подходящую... Столкнетесь с интригами и жизненным болотом и не воображайте, что скромная роль статиста вас оградит от этого... Я одно время столкнулся с этим миром, делал макетки костюмов. На ряду со « служением музам » там служат собственным страстям. Мой долг вас предупредить. Я вас полюбил как сына и хотел бы вас избавить от всего этого... Слишком ранний жизненный опыт такого рода может неизгладимо запятнать душу. Но вы молоды и упрямы. Дай Бог, чтобы упрямство ваше превратилось в твердость воли и выдержку, вы их уже не раз, впрочем, проявляли. В момент сомнений прислушайтесь к внутреннему голосу — он всегда прав. И думайте о вашей матери... и об Эллен...

Я удивился последним словам и задумался... А ведь и правда, когда Нини со мной заигрывала, я невольно сравнивал ее с Эллен; мое влечение к этому чистому образу было очень похоже на влюбленность. Я часто мечтал о ней и надеялся на встречу если не с самой Эллен, то с девушкой похожей на нее.

— Спасибо, Стрего, — сказал я... — Не забуду ваших слов. Пока я не заснул, я слышал, как беспокойно ворочался Стрего.

Утром мы с Нини отправились на репетицию. Вошли в здание театра через узкий боковой ход — « Entrée des Artistes ». Ни дать, ни взять — вход для прислуги в старых домах. Мы поднялись по довольно грязной лестнице, привратник поглядел на нас через стеклянную дверь, как сторожевой пес из своей конуры. Через пыльные кулисы, заваленные, как мне показалось, всяким хламом, мы пробрались в зрительный зал. На сцене репетировали. Под звуки томного вальса толстенький тенор сладко заливался, прикладывая руку к сердцу. Ему вторила не очень молодая женщина с усталым лицом. Какой-то человек в свитере и мягких туфлях время от времени прерывал их, давая указания. Дуэт несколько раз начинали сначала. Потом дядя в свитере оглянулся и сказал : — Ну, пейзане, на сцену!... Нини схватила меня за руку и подвела к нему : — Вот молодой человек, о котором я вам говорила.

Он повернул ко мне мятое небритое лицо, внимательно оглядел. — Ладно... Ты уже бывал на сцене? — От этого « ты » я несколько опешил. Нини заговорщицки сжала мне руку. — Нет, не бывал.

— Ничего, тебе объяснят. Делай то, что делают другие, а главное, не вылазь куда не следует, а то будешь мешать солистам. Ну, ступай на сцену.

Споткнувшись о ступеньку я неловко взобрался на подмостки. Там уже находилось несколько человек.

— Твое место — здесь, — указал мне небритый. — А это — твоя дама. Моей даме было лет сорок, она улыбнулась мне.

— Вы в таверне, — продолжал небритый. — Пьете и веселитесь. Возьми даму за талию, говори с ней, но только губами, беззвучно. Она тебе укажет когда будет время убираться со сцены. Понял?

Я кивнул. Мои соседи поднимали воображаемые кубки, обнимали соседок, улыбались... Все они были на много старше меня. Я добросовестно подражал их жестам. Потом все направились к выходу. На сцене осталось только двое мужчин — давешний тенор и другой постарше. Они затеяли разговор, смысл которого от меня ускользал. Режиссер опять их прерывал. Вдруг он позвал : — Эй ты там, молодой, как тебя?... Идика сюда.

Откуда-то взялась Нини и зашептала подталкивая меня : — Идите-же, это к вам, Саша... — Я подошел.

— Послушай-ка, я дам тебе лишний выход, если справишься. Вот, на сцене первый любовник — ткнул он пальцем в тенора, — а это отец его возлюбленной (жест в сторону другого). Пока они поют, ты выходишь крадучись и озираясь и подойдя суешь записку в руку тенора... Надо, чтобы публика видела, что ты опасаешься отца... Смотри-ка!

Он пошел за кулисы, вынырнул оттуда, огляделся по сторонам и стал осторожно подходить к авансцене... Останавливался... пугался... Наконец, подойдя с тыла, сделал вид, что сует что-то в руку тенора.

— А ну, повтори!

Я попытался. — Не спеши, не спеши, у тебя много времени. Крадись...

Я чувствовал, что мои руки и ноги ужасно неповоротливы и мне очень мешают. Но, проделав сцену несколько раз, освоился и получил одобрение : — Ладно, сойдет...

Потом пейзане опять пировали в таверне. Под конец попарно обошли сцену под звуки польки. Моя соседка направляла меня куда следует и я справился с задачей. Репетиция окончилась.

Дома я рассказал обо всем Стрего и очень его рассмешил.

После еще двух репетиций настал вечер моего дебюта. Я попросил Стрего остаться дома, почему-то не хотелось чтобы он был в зале. Мы с Нини пришли заблаговременно. Мне выдали костюм — красные штаны, рубаху с прозрачными рукавами, зеленую курточку и пояс вышитый блестками. И большую шляпу с пером... Напялив всё это, я ужаснулся поглядев на себя в зеркало — настоящий клоун. Штаны оказались широки в поясе и коротки. Закололи английской булавкой... Потом какой-то сердитый человек принялся мне размалевывать лицо. Косясь в зеркало, я со страхом наблюдал как желтеет моя кожа, как нелепо чернеют брови и как рот теряет форму под густым кармином... Настоящее пугало! Мне было страшно коснуться лица, оно липло и лоснилось.

Но Нини, увидев меня во всей красе, одобрила, сказала, что я буду чудесно выглядеть со сцены. Сама она была в пышной яркой юбочке, черном корсаже и балетных туфельках, на голове — ленты и цветы.

— Смотрите, какая мы хорошая пара! — сказала она игриво, подводя меня к большому зеркалу и прижимаясь ко мне. Она и впрямь была очень мила, но себе я совсем не нравился... И где они видели таких пейзан? — думал я, глядя на закулисную толпу и с трудом узнавая людей, уже знакомых по репетициям, так изменили их грим и костюмы. Наконец нас позвали на подмостки; спектакль начинался со сцены в таверне. Пейзане уселись за столики, уставленные деревянными кубками и кувшинами. Кордебалет, с Нини в первом ряду, занял место в центре. Грянула музыка... Под конец увертюры пейзане пришли в движение, закружились юбочки балерин, и занавес стал медленно подниматься, открывая темный провал в зрительный зал. Легкое движение воздуха заколебало гирлянды искусственного плюща над дверью таверны...

— Публики много, — шепнула моя соседка, чокаясь со мной пустым кубком. Я несколько растерялся глядя в неведомую полутьму, где поблескивала позолота лож и где затаилась многоголовая требовательная гидра — публика. Чудовище глазело, дышало, слегка шевелилось...

— Обращайтесь же ко мне, — опять зашептала моя дама, склоняя мне голову на плечо. Я принялся ее обнимать за талию, беззвучно восклицать и потягивать несуществующее вино.

Кордебалет лихо отплясал положенное и заслужил аплодисменты. Звук хлопков мне показался резким и неприятным. Когда появился тенор и затянул на авансцене свою арию, мы пейзане стали понемногу расходиться. Встал и я под руку с

моей дамой, по дороге наткнулся на столик, но, слава Богу, не опрокинул.

— Смотри куда идешь... — зашипел за кулисами режиссер. Я поскорее удрал подальше. Нини меня поджидала. — У нас есть много времени, — пойдем, я познакомлю вас с подругами... Ваша сцена с запиской в следующем акте.

В большой артистической уборной было шумно и весело. По стенам висели яркие платья, две девушки, сидя за туалетными столиками, подправляли грим, одна из танцовщиц натягивала потуже трико, задрав кверху оборки... Мое появление никого не смутило, — закивали, обступили, стали шутить и задавать вопросы... Я перезнакомился со всеми, некоторые девицы обращались ко мне, как и режиссер, на ты. Но я перестал смущаться этим; значит, таков обычай. Нини держала себя так, что ее поведение должно было внушить подругам мысли о наших больше чем дружеских отношениях. Ну что-ж, если ей это нравится, я не стану разрушать иллюзий. Некоторые девушки вертелись перед большим зеркалом, принимая танцевальные позы, а одна сидела поодаль, закинув ногу на ногу так, что видны были крошечные кружевные панталончики, и прилежно вязала что-то из синей шерсти. Донеслись приглушенные аплодисменты.

— Первый акт кончился, — сказала Нини. — Ну теперь тебе, Саша... — Она тоже незаметно перешла на ты, вышло както само собой. Я не протестовал, боясь показаться смешным.

Режиссер вскоре позвал меня, сунул мне бумажку, которую я должен был передать тенору на сцене. — Стой здесь, — сказал он, — я тебя выпущу когда надо. Только не торопись и помни все указания.

Начался 2-ой акт. Признаться, я струсил. Из за кулис мне было видно, что теперь декорации изображали не то лес, не то сад... Слава Богу, на сцене не было предательских столиков. Послышался уже знакомый дуэт...

— Ну, валяй! — подтолкнул меня режиссер. Я вышел... сердце мое колотилось. Представил себе, что сейчас я мишень для всех глаз, что каждый мой жест на виду. Озираясь я начал подкрадываться к поющим. Спрятался за, картонный и пыльный с изнанки, ствол дерева. Артисты, стоя ко мне спиной, распевали обращаясь к публике. Я не мог видет их лиц. Они были одинакового сложения, в схожих костюмах, только пояса были разные: один зеленый, другой коричневый. Кому же сунуть записку? — подумал я в замешательстве, а вдруг передам ее не любовнику, а папаше. Вот будет номер... Сделав вид что я заприметил кого-то вдали, я ринулся за кулисы к

режиссеру. Тот, ахнув, сделал страшные глаза. — Ты что, с ума сошел?

— Которому? — спросил я в отчаянии, — зеленому поясу или коричневому? — Зеленому, — ответил режиссер сообразив в чем дело и выругался потихоньку...

Тогда я опять выскочил пригнувшись, быстро подбежал и, подмигнув публике, сунул записку в опущенную руку. И убежал так же поспешно.

Раздалось два-три хлопка... Неужели это мне? Режиссер усмехнулся и ничего не сказал.

— Что случилось? — спросила Нини. Я рассказал. Посмеявшись она меня похвалила за находчивость. — Молодец, Саша, все подумали, что так и надо...

Опять наступил антракт. Я побродил по пыльным закулисным коридорам, поболтал со словоохотливым электротехником, возившимся с какими-то проводами и рефлекторами, потолкался среди танцовщиц. Наконец подсел к той, что продолжала прилежно вязать, и разговаривал с ней пока на сцене продолжали совершаться какие-то события... Там пели, восклицали и, кажется, под конец подрались... Происходило это без участия балета и статистов. Но в последнем действии мы снова вылезли на сцену. И опять веселились в таверне. Всё сошло благополучно. Неизвестные мне препятствия, мешавшие соединению любящих сердец, были устранены и тенор смог всенародно обнять свою возлюбленную, при ликовании пейзан. Апофеоз — целующиеся влюбленные и пляшущий вокруг них балет. Мне вспомнилась чья-то шутка относительно содержания всех опер и опереток : тенор всегда хочет соединиться с сопрано, а баритон мешает. Под дружные аплодисменты занавес несколько раз поднимали и опускали. Артисты кланялись взявшись за руки... Наконец спектакль закончился.

Идя вслед за счастливыми любовниками я слышал как певица желчно упрекала тенора за то, что тот, обнимая, закрывает ее от публики, а себя выставляет напоказ... Вот она, пыльная изнанка декораций, подумал я усмехнувшись, а ведь как они на сцене милуются!

Я быстро переоделся, сдал костюм, но не знал что мне делать с размалеванным лицом. Потом увидел как другие смазывают его какой-то жирной мазью и вытирают бумажной салфеткой. Я последовал их примеру. Грим сошел, но мне очень захотелось вымыть лицо мылом и водой, однако, увидев затертые полотенца, я решил сделать это дома. Нини с двумя подругами поджидали меня.

— Ужасно хочется пить, — сказала одна из них, — зай-

дем по дороге в соседний бар, надо же вспрыснуть ваше первое выступление...

Мысленно подсчитав свои наличные я решил, что их хватит и что отказываться неловко.

Людный и шумный бар окутал нас красноватой полутьмой, где колебались слои табачного дыма. Как только мы вошли, нас окликнули из за отдаленного столика. — Сюда, сюда... мы уже поджидаем...

Мы подошли, я пожал несколько незнакомых рук. За столиком сидело трое мужчин и две девицы. Меня усадили рядом с человеком средних лет. Овал его довольно жирного лица окаймляла черная бородка. Мне не понравились ни прищуренные глаза, ни развязность этого господина. По другую сторону сидела одна из незнакомых девиц, с падающими на глаза прямыми волосами, она курила папиросу за папиросой. Сосед фамильярно обнял мои плечи и прижал к себе. Я отодвинулся, сделав вид, что мне надо достать платок. Бородатый заказал что-то барману. Разговор шел о спектакле — хвалили балет, бранили тенора, издевались над сопрано... Я слушал и помалкивал. Нам подали высокие стаканы с каким-то мутным питьем, где плавали лимонная корка и кусочки льда.

— Это коктейль « Холливуд », — сказал мой сосед, пододвигая мне стакан. — За ваше здоровье, дебютант! — Мы чокнулись. Я отхлебнул, питье показалось мне вкусным и совсем не крепким, чему я обрадовался, потому что, несмотря на хорошее здоровье, я плохо переносил алькоголь. Как-то на одной из товарищеских пирушек оскандалился после двух рюмок виски. Коктейль пился легко, но отпив половину стакана, я почувствовал что меня начало мутить. Сосед опять прижался плечом, я поежился и отодвинулся...

— Что, старик очень ревнив? — спросил насмешливым шопотом бородач. Я сначала не понял, потом решительно встал, чувствуя что краснею от негодования... — Мне пора, — сказал я выбираясь из тесно сдвинутых стульев, как из засады. — Ты еще остаешься, Нини?... — Но ее не отпускали. Я попрощался и вышел на улицу.

На воздухе стало легче; мне захотелось пройтись и проветриться, я весь пропах табачным дымом и спертым духом бара. Над городом стоял легкий туман. Вдоль набережной тянулись старые дома с темными окнами, чередовались тусклые фонари, окруженные туманным ореолом. Внизу лениво струилась черная вода. Шагая я инстинктивно держался подальше от мрачных нор — сходов. Послышался печальный звон часов; он говорил о неумолимом течении времени, о неизбежности смерти. Узловатые изувеченные ветки платанов, казалось,

поднимали к небу черные кулаки, застывая в немой ярости... Я всё не мог успокоиться вспоминая вопрос бородатого... Какая мерзость! Какой грязью бросили в милого старого Стрего... Но откуда этот тип узнал о старике? Конечно, разболтала Нини.

Дома Стрего меня поджидал, не спал. Стал расспрашивать как прошло мое выступление, но мне не хотелось говорить и я отделался несколькими фразами. Старик внимательно посмотрел : — Вы чем нибудь расстроены, Саша? — Ничего, пустяки... — буркнул я поскорее укладываясь в постель. Стрего погасил свет и замолчал.

Целый день я не мог отделаться от неприятного осадка на душе. Вечером за мной зашла Нини. По дороге спросила : — Отчего ты вчера так стремительно и внезапно убежал?

Я ответил, что мне была крайне неприятна компания, в которую мы попали.

— Очень жаль... Напрасно, Саша. А ты всем очень понравился. О тебе много расспрашивали.

Мне хотелось ее попросить ничего обо мне никому не рассказывать, но не стоило, всё равно она уже выболтала всё что знала.

— Знаешь, Саша, Пьер мог-бы тебе быть очень полезен; у него огромные связи и возможности...

— Это который из них Пьер?

— А тот, что сидел с тобой рядом, у которого черная бородка....

Я так и знал. Ничего ей не ответил. Она продолжала : — Пьер сделал карьеру одному молодому певцу. Сначала пригласил его на должность секретаря, а потом продвинул, сделал ему имя... Теперь он с успехом поет в большом Парижском кабарэ. И пластинки его хорошо расходятся... он разбогател. Недавно приезжал сюда на собственном прекрасном автомобиле. Пьер всегда поддерживает своих друзей...

Я понимал, что стояло за всем этим; без сомнения понимала и Нини, но смотрели мы на вещи по разному.

— Долго он секретарствовал? — спросил я насмешливо.

— Около года... Пьер, кажется, хочет тебе предложить...

— Нет, спасибо, — резко оборвал я. — Мне совсем не хочется становиться певцом. У меня нет ни голоса, ни призвания.

— Саша! — вскинулась она. — Ты только подумай, Пьер возил бы тебя повсюду. На днях он вернулся из Швейцарии,

скоро поедет в Италию. У него очень крупное дело и он постоянно разъезжает... На твоем месте каждый молодой человек...

— Я не каждый, я сам по себе... — опять решительно перебил я ее. — И прошу больше не говорить на эту тему... Раз и навсегда. Точка...

Нини надулась. — Маленький мальчик, благонравный маменькин сынок... — процедила она пожав плечами. Я усмехнулся, пусть себе. Мы вошли в здание театра. Надо было поторопиться одеться и загримироваться. Спектакль прошел без инцидентов. Я больше не трусил и на столы не натыкался. Во время антракта одна из приятельниц Нини мне сказала : — А знаете, вам уже завидуют... Вы еще новичок, а режиссер вас заметил и выдвинул. Артист, у которого отняли сцену с запиской, зол на вас...

— Я-то при чем? Ведь я не напрашивался.

— Да, конечно, но...

На этом наш разговор прервали. Выйдя из театра я натknулся на вчерашнюю компанию. Они поджидали у входа для артистов. Пьер кинулся ко мне с протянутой рукой. — А вот наш молодой друг... Пойдемте, посидим в баре, у меня к вам дело.

Мне очень хотелось просто послать его к чорту, но я сдержался и сказав, что меня ждут, и извинившись, увернулся от протянутой руки и зашагал прочь. Вот пристали!

Я миновал ближайшую остановку троллейбуса, чтобы меня не настигли. Подходя к следующей я услышал, что кто-то бежит за мною. Прибавил шагу; из за угла как раз показался мой троллейбус.

— Саша, Саша! подождите, поедем вместе... — услышал я позади голос Нини. Она догнала и мы поехали вместе.

— Пьер поручил мне... — начала она. Я предостерегающе поднял руку. — Нет, сначала выслушай, это очень важно. Вот что, он предлагает тебе оклад в 1000 франков ежемесячно, это хорошие деньги!... От тебя требуется только (она подчеркнула « только ») вести корреспонденцию, распределять по местам деловые бумаги, отвечать на телефонные звонки... И тому подобные пустяки — заказывать билеты для поездок, напоминать о деловых свиданиях и так далее... Присутственные часы : от 9-ти до 12-ти и от 2-х до 6-ти... Это очень интересное предложение. Пьер убедился, что ты серьезный молодой человек и он хочет тебе только добра...

Я заколебался. Мне никогда не снилось такое жалование, но вспоминая жирные щеки Пьера и его прилипчивый локоть, я испытывал отвращение.

— Спасибо... подумаю... — уклончиво ответил я. — Посоветуюсь со Стрего.

— Совсем не нужно — запротестовала Нини. — Старик станет отговаривать. Нас молодых старые не понимают, у них устарелые понятия и привычки.

Последняя фраза поразила меня, где я ее уже слышал?

— Ладно, завтра дам ответ.

Мы сошли с троллейбуса и молча добрались до дому. Над кроватью Стрего горела лампочка, он читал. Поднял на меня печальные глаза и показался в этот момент очень старым.
— Ну, как? — Все благополучно, но мне надо с вами посоветоваться.

Улегшись в постель я всё рассказал. Он не перебивал, только по временам тяжело вздыхал. Потом спокойно сказал :
— Этого следовало ожидать. Ну а вы сами что о таком предложении думаете?

— Заманчиво, что и говорить... Приятная работа, хорошие деньги... Но я думаю отказаться.

— Правильно думаете, Саша. Перед вами одна из жизненных ловушек. Западня скрытая цветами, а под ними железные щипцы... И дай Бог, чтобы вы всегда это замечали.

И решив завтра отклонить предложение, я успокоился и скоро заснул.

Отправляясь вечером в театр я заявил Нини, что скоро собираюсь обратно в Париж и поэтому не могу поступать на службу. Она видимо искренно огорчилась.

Моя работа с раскраской кукол временно приостановилась. Их заготовили в большом количестве, превышавшем спрос. Надо было выждать недельки две. Жаль, на этой работе я набил себе руку и без труда одолевал положенную порцию. Стрего закончил две картины и отнес их в Галерею на продажу. Опять принялся за мой портрет, теперь уже в красках. Я позировал без труда, с интересом наблюдая, как на полотне возникает и оживает мой профиль. Думаю, что Стрего преувеличил его совсем мальчишеское выражение, я выгляжу старше.

Удивительно, как Стрего молодел за работой. Зоркий испытующий взгляд переходил от меня к полотну, измеряя и сравнивая. Казалось, что старик прислушивается к какой-то мелодии слышной только ему. Именно такое выражение улавливал я на лице мамы, когда мы с ней бывали на концертах. Я сказал об этом Стрего и очень его обрадовал.

— Искусство, мой мальчик, обладает живительной силой...

Не даром в Элладе музам посвящали источники — символ неиссякающей и животворящей силы творчества... И заметьте, все музы — сестры. Они — спутницы Аполлона, бога солнечного света.

Как-то раз я решил воспользоваться досугом и сходить посмотреть источник св. Эпипода, о котором мне рассказывал старик. Сам он не пошел, работал над фоном моего портрета. — 19, Набережная Пьер Сиз, — напомнил мне старик.

Это находилось недалеко от нас. В пасмурный прохладный день я зашагал вдоль Соны. С Альпийских вершин прилетал суровый ветер и сулил дождь. Поровнявшись с оригинальным Лионским памятником « Человеком Скалы » я приостановился. Мокрый высокий утес образовывал как бы естественую нишу. Над ней кудрявились ниспадая заросли плюща. Я давно заметил, что в Лионе особенная зелень — густая, темная и влажная... Из нишы выступал человек в старинной одежде. Я прочитал надпись : « Иоганн Клербергер — прозванный добрым немцем, Лионский старшина. Гражданин Женевы и Берна. Родился в Нюрнберге в 1486 году, умер в Лионе в 1546 году ». Надо будет спросить Стрего, что он знает о « добром немце ».

Минуя старые дома я заметил ярко раскрашенные входы лавочек и кричащие вывески.

Тусклые старые окна верхних этажей смотрели неодобрительно на эту пеструю суету. Минуя ярко-красный вход в парикмахерскую, я улыбнулся : дом выглядел как древняя старуха с накрашенными губами.

А вот и 19-ый номер.. Пройдя через узкий мрачный коридор, я очутился в небольшом внутреннем дворике. Его окружали домики взобравшиеся на склон холма. Встретилась пожилая женщина с корзинкой; поглядела на меня с любопытством и вышла на улицу. Я побродил по дворику, заглянул под арку, уцелевшую от какого-то старинного здания, поднялся по стоптанной лестнице, но нигде не нашел следов убежища св. Эпипода... Вскоре возвратилась давешняя женщина. На мои вопросы ответила, что слыхала о предании и что мне следует обратиться в столярную мастерскую к мсье Бернару. Я заметил какую-то мастерскую справа от входа в коридор. Вошел и поздоровался. Пахло свежим деревом и клеем. Сам хозяин, обтачивая брусок, поднял на меня серьезные глаза... Я задал вопрос.

— Да, я знаю об этой истории... Погреб с источником как раз подо мной. Но это частная собственность и надо иметь разрешение чтобы туда проникнуть.

Я с интересом рассматривал низкие массивные своды над головой. Столяр уловил мой взгляд.

— Это всё, что осталось от древнего аббатства, — обвел он глазами своды и какой-то каменный выступ... — Чтобы расширить мастерскую я хотел это разрушить, но городские власти не разрешили, сказали — исторический памятник... А источник я видел... На дне погреба водная поверхность около двух метров в диаметре.

Поблагодарив столяра я вышел. Как хорошо, что Лион оберегает старину, этот город должен сохранить свое неповторимое лицо. И то на древних холмах уже торчат ультра-современные здания, похожие на огромные спичечные коробки, и портят пейзаж.

Вечером в театре меня ждал неприятный сюрприз. По окончании спектакля, режиссер передал мне конверт с деньгами и,не глядя в глаза, сказал, что оперетку временно снимают с репертуара и в моих услугах больше не нуждаются.

— Но может быть мне найдется место в какой-нибудь другой пьесе? — Не знаю.. Может быть... Я извещу вас если... — уклончиво ответил он. Потом пристально взглянул, мне показалось, что в его глазах мелькнуло сочувствие. — Это не от меня зависит, — развел он руками и отошел.

Я выступал в оперетке в течение недели. Успел привыкнуть к сцене и закулисным обычаям. Пьер со своей компанией отстал, когда я категорически отказался от предложенной должности секретаря. В театре мне заплатили около 150-ти франков за неделю. И теперь я лишился последнего заработка. Конечно, Стрего поддержит, но не могу же я сидеть у него на шее. Я приуныл.

Нини догнала меня, по ее поведению я понял, что она знает о моем увольнении.

— Если хочешь, Саша, тебя могут устроить статистом в каком-нибудь другом театре или даже в опере...

— Кто может? — Люди со связями.

— А где их найти? — Да хотя бы тот-же Пьер... Он будет рад оказать тебе услугу. Напрасно ты от него бегаешь...

— Timeo Danaos!... — ответил я со смехом.

— Это что значит? Я не понимаю.

— Это по-латыни, из Виргилия — « Боюсь Данайцев... и дары приносящих »... Слова Лаокоона.

— А ты поменьше бойся, молодые должны дерзать.

— Вот я и дерзаю отказываясь от помощи всесильного Пьера и рассчитывая только на себя.

Нини усмехнулась : — Не так это легко как тебе кажется... Увидишь.

Мы молча дошли до дому. На прощанье она прибавила : — А ты все-таки подумай о моих словах. У тебя есть большие возможности и глупо от них отказываться...

Стрего одобрил меня. — Не унывайте, Саша, всё образуется. .. Бог с ними, с Данайцами.

Через несколько дней пришла консьержка и о чем-то переговорила со Стрего, понизив голос.

Я почему-то встревожился, не обо мне ли разговор? Так и оказалось. Когда она ушла, старик сказал с усмешкой : — О вас приходили справляться из комиссариата, — на каких правах живете, что делаете? и т. д... Ох, чувствую, что это не без участия милого Пьера... Со всех сторон подъезжает... Но вы не беспокойтесь. Дайте-ка мне ваши бумаги. Я сам схожу в комиссариат, у меня там есть свой человек. Всё уладится.

Отсутствовал Стрего не долго. Вернувшись сказал : — Всё в порядке. — И передал мне мой паспорт. Меня оставили в покое.

Вскоре подвернулась неожиданная работа, опять благодаря Стрего. Его знакомому понадобился репетитор для мальчика лет 14-ти. Надо было его подтянуть по математике. Признаться, именно этот предмет я особенно не любил, но от предложения не отказался. Купил нужные учебники и подзубрил то, что проходил 2 года тому назад. Как это все было сухо и скучно...

Ученик мой оказался мальчиком способным, но ленивым. Я понял, что его можно заставить работать только, если мне удастся его заинтересовать. Если бы дело шло об истории или литературе, то думаю это мне удалось бы. Но пойди, заинтересуй математикой, к которой я сам не чувствовал никакой склонности. Я поговорил об этом со Стрего. Он поднял свои молодые глаза —

— Математика, Саша, полна таинственных возможностей. Именно через нее мы можем прикоснуться к бесконечности — понятию божественному, непостигаемому человеческим разумом. Число неизменно и вечно. Общее для всех, оно в астрономии и музыке, оно в гранях кристалла и в расположении лепестков цветка. Оно отрада чистого разума... Когда я задумываюсь над этим, у меня кружится голова, как над бездной. Подумайте, что вся вселенная, все миры, все звезды, все циклы времен подчиняются числу...

Я слушал со всё возрастающим вниманием. Как это было ново и интересно!

— Скажите, Саша, когда вы чертили в классе квадратики гипотенузы и катетов, что вы знали о Пифагоре?

Я пожал плечами. — Очень мало, был такой греческий философ до Рождества Христова...

— Пифагор ставил число в основу мироздания, — продолжал Стрего. — Но его число не было только отвлеченным понятием, оно было выражением Божества, великой монадой, заключающей в себе всё сущее. Наука Пифагора это наука о живых силах Создателя... В мирах и в человеке... В макрокосмосе и микрокосмосе...

Из книжного шкафа Стрего извлек увесистый том, нашел нужное место и протянул мне.

— Вот, почитайте на досуге о Пифагоре... Думаю, что это вам поможет увидеть, за скучными математическими вычислениями, проявление древней мудрости. И услышать музыку сфер...

Начав читать с некоторой неохотой, я вскоре погрузился в книгу с головой. Я не всё понимал, но многое мне казалось откровением.

На первом же уроке я попытался передать моему ученику то, что сам узнал. У Роберта заблестели глаза, слушал внимательно. Мне, как будто, удалось его заинтересовать. И действительно, с этих пор уроки пошли впрок. Мальчик начал работать. Чтобы оставаться на высоте положения мне приходилось изрядно подготовляться и восстанавливать в памяти то, что я прежде учил очень небрежно. Как странно, думал я, что судьба заставляет меня делать именно то, от чего я бежал. Разница в том, что теперь я брался за это добровольно, без всякого давления со стороны. Когда я, оглядываясь назад, вспоминал свое парижское умонастроение, то находил его ошибочным. Многое я тогда видел неверно, но за эти месяцы жизнь меня кое-чему научила; я сознавал что внутренне возмужал. Иногда подумывал о возвращении домой, но самолюбие еще не пускало. Да и к милому Стрего я очень привязался, мне с ним всегда было легко и хорошо. Ему удалось продать в галерее мой последний портрет, чему мы оба обрадовались. Получив деньги старик купил мне белья, мое порядочно истрепалось. Передавая пакет он мне сказал : — Это не подарок, а ваша часть. Ведь создавая портрет мы с вами сотрудничали...

Стрего меня тронул таким вниманием.

С Нини я встречался редко и случайно, но как-то в городе я столкнулся с одной из ее товарок, той, что всегда прилежно вязала за кулисами. Ее звали Розиной. Она мне обрадовалась, затащила в кафе, стала расспрашивать... Эта девушка мне скорее нравилась — доверчивые светлые глаза, скромные манеры, простая прическа, лицо почти не накрашено. За чашкой ко-

фе мы по-дружески поговорили и она пригласила меня к себе на следующий день.

— Будет несколько человек друзей, — закусим, поговорим, повеселимся...

Показалось неловко отказываться и я обещал прийти.

Стрего не стал отговаривать, только сказал: — Будьте осторожны Саша, присмотритесь внимательно к новой компании... И не возвращайтесь слишком поздно, а то я буду тревожиться...

Я улыбнулся, показалось, что слышу голос мамы.

Розина жила в центре города. Мне понравилась ее просторная светлая комната с простой современной мебелью. Много зеленых растений, несколько репродукций хороших картин, однотонный ковер и порядочная библиотечка под стеклом. Когда я пришел, гости Розины поедали бутерброды, весело болтая. Играло под сурдинку радио. Розина меня со всеми перезнакомила и усадила рядом с собой. Налила чаю и принялась усердно угощать. Молодежь поглядывала на меня дружелюбно. Я не встретил ни одного знакомого лица. Меня сразу заинтересовал один из молодых людей — худой, смуглый, с большими темными глазами, где порой пробегало какое-то странное выражение. Встречая его пристальный взгляд я внутренне ежился, ощущая его почти как прикосновение. Наклонясь к Розине я шопотом спросил: — кто этот аскетический молодой человек?

— Это Жак Кадеак, мой кузен. Незаурядный человек. Медик... работает в госпитале Гранж Бланш... В психиатрическом отделении.

Жак вдруг обратился ко мне: — Ну что же вы думаете о Лионе, парижанин?

— Интересный город, — поспешил я ответить. — В особенности его старая часть. Я люблю старину и рад, что Лионцы берегут ее.

— Не очень-то берегут, — усмехнулся Жак. — Большинство мечтает сделать из древнего Люгдунума современный безличный город... Но всё новые здания воздвигаются здесь на древних камнях, на фундаментах храмов, дворцов и монастырей. И если задуматься, то в этом можно найти особый смысл. Когда Розина пляшет на подмостках театра Селестен, она и не подозревает, что под ней остатки Аббатства XIV века и что Селестен — имя некоего монаха, чей донос папе на орден Храмовников положил начало знаменитому процессу...

Надо с Жаком познакомиться поближе, — подумал я. Он, словно прочитав мои мысли, произнес с улыбкой: — Вижу,

что вас это увлекает, как и меня... Нам найдется о чем поговорить.

Вечер у Розины прошел приятно. Она обладала даром объединять людей и создавать милую непринужденную атмосферу. У нее был хороший электрофон и все с большим вниманием прослушали несколько прекрасных пластинок серьезной музыки. Их подбор делал честь ее вкусу...

Помня обещание данное Стрего, я поднялся первым. Жак тоже встал. — Выйдем вместе, — мне рано вставать...

По дороге Жак спросил : — Знаете-ли вы происхождение названия « Люгдунума »? О первой половине слова до сих пор идут споры. « Люг » или « Люгу » может значить имя Галльского божества, но может происходить и от « ворона ». Есть предание о том, что римская колония, изгнанная из Виенны восставшими Галлами, добралась до слияния двух рек и расположила тут свой лагерь... Откуда ни возмись, вороньи стаи окружили его с громким карканием... Оттого городу тут основанному и дали имя « Воронего Холма »... « Дунум » значит холм, гора... На древних монетах встречались изображения этой зловещей птицы. — Мы вместе дошли до угла, здесь наши пути расходились. Жак пожал мне руку и сказал, что будет рад встречаться.

Трясясь в пустом вагоне я всё время думал о новом знакомом. Вспоминал его особый взгляд, его странные узловатые пальцы и глухой голос. На вид Жаку было под тридцать, вся компания относилась к нему с почтением и сдержанностью. Тон его всегда звучал авторитетно и с некоторой насмешкой. А у меня к нему было противоречивое чувство, он и притягивал и чем-то отталкивал.

Рассказывая Стрего о новых знакомых, я почему-то умолчал о моем двоящемся чувстве к Жаку; напротив, говорил о нем восторженно. Когда объяснил как Жак толкует происхождение имени Люгдунума, старик покачал головой. — Есть и иное предположение... Некоторые ученые производят « Люгу » от « люко », то-есть « блестящий », « светлый » ...Сияющий холм, а не мрачный, вороний. Мне, признаться, это больше нравится. Не забудьте, Саша, что римляне называли Лион « Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum »... « Copia » — богатая, обильная.

Мне самому такое объяснение гораздо больше нравилось. Я задумался. Темный это город или светлый? Для Стрего — светлый, для Жака — темный. Это зависит от точки зрения, а может быть от глаза?...

Кукольная мастерская, слава Богу, опять возобновила работу. Таким образом уроки с Робертом и раскраска младенцев доставляли мне теперь необходимые средства на жизнь. Обошелся без благотворительности Пьера.

Вскоре после вечера у Розины, сидя за своим малеванием, я вдруг испытал странную тревогу, беспричинную и растущую... Как бы зов, которому нельзя не повиноваться. Стрего не было дома. Я отложил кисточку, наспех пополоскал ее и вышел на улицу. Сначала бесцельно пошел по улице Гадань, но потом повернул обратно и направился к набережной, совершенно не зная, почему это сделал. Внезапно я почувствовал, что у меня сильно болит голова, но я продолжал идти.

В угловом кафе, напротив моста Ляфайет, сидел Жак, издали мне улыбаясь.

Я подошел. — Рад вас встретить... Какими судьбами вы в нашем квартале? — Садитесь, Саша... Мне хотелось вас повидать, надеялся что удастся... — Он пододвинул мне стул. — Что будете пить?

Я покосился на его стакан; Жак пил фруктовый сок. Я спросил того же.

— Вам нездоровится? — вдруг спросил Жак. — У вас больные глаза...

— Пустяки, просто разболелась голова.

— Что болит, лоб, виски?

— Виски. — Жак вдруг привстал и положил мне руку на лоб, провел ею до затылка, нажав на виски. — Тут больно? Сейчас пройдет...

Совсем близко над собою я видел темные глубокие глаза, окруженные синяками. Прикосновение рук холодило... Боль внезапно исчезла.

— Прошло! — сказал я удивленно. — Как странно!...

— Это у вас нервное, это бывает... — спокойно ответил Жак. — А я знал, что вас встречу.

— Вы немножко колдун? — спросил я шутливо.

— Может быть... « Есть многое на свете, друг Горацио »... Я рад, что не обманулся в вас. Вы сами не знаете, какие возможности в вас заложены.

— Какие-же? — полюбопытствовал я.

Он улыбнулся и пристально поглядел в глаза. — Вы сейчас как зерно пустившее первый росток. Потенциально в нем уже всё — и крепкий стебель, и пышный цвет, и семя... Но как это всё разовьется, один Бог знает... Вы для меня загадка. В вашем возрасте юноши обычно переживают « самую трудную четверть часа » подготовки к жизни... Напряженное учение, экзамены, направленность всего существа к определенной

цели... А вы болтаетесь в Лионе, даете уроки, размалевываете игрушки, подвизаетесь на сцене... И, как мне передавали, не брезгуете никакой работой... Вместе с тем вы из культурной среды и, как мне кажется, умны... Чего вы хотите, чего добиваетесь?

Какое ему дело? — подумал я с раздражением... как неделикатно задавать такие вопросы...

— Напрасно вы думаете, Саша, что это не мое дело и что неделикатно задавать такие вопросы...

Я почувствовал что краснею до ушей... что это? он читает мои мысли?

— Совсем не праздное любопытство тому причиной, — продолжал Жак. — У меня к вам большая симпатия и желание помочь. Я старше и опытнее вас... Скажите, как вы себе представляете ваше будущее положение в обществе? Чего вы хотите добиться в жизни?

— Да в том-то и дело, что никакое поприще меня не притягивает, — искренно ответил я. — Когда мне представляется, что я всю жизнь буду должен делать одно и то же и только это, во мне встает протест. Вот вы, Жак, медик. Значит, с утра до вечера вы возитесь с болезнями и страданиями. И с капризами ваших пациентов. Как это можно выносить? Всю жизнь... всю жизнь!

— Вы слыхали, Саша, о Гермесе Трисмегисте? — помолчав сказал Жак.

— Да, что-то слыхал — ответил я неуверенно — кажется какое-то египетское божество... или греческое...

Гермес Трисмегист — Трижды Великий учит, что главное зло в невежестве, в незнании, — заговорил Жак, глядя куда-то поверх меня. — Надо бороться именно с ним. Остальные « слепые палачи », терзающие нашу душу, порождены им. Мы тоскуем и грустим не зная зачем нам дана жизнь и почему неизбежна смерть. Это, после незнания, второй палач, его имя Печаль. Он отдает нас в руки следующего, а именно « Неумеренности ». Тот призывает на помощь других — Алчность, Несправедливость, Скупость, Заблуждение, Зависть, Хитрость, Гнев и Дерзость... А за ними приходит и самый страшный — Зло... И оно убивает душу.

Спасительных добродетелей меньше чем губительных. Первая из них — Познание, дающее Радость. За ними следуют Умеренность, Сдержанность, Справедливость и Общительность. Заключительная и главная добродетель — Истина. И она спасает душу... Так учит Трисмегист. Если задумаетесь над этим, вы сможете найти для себя ценные указания.

— Свобода для меня самое важное, — горячо вскричал я. — Без нее я ничего не принимаю.

— Свобода? — усмехнулся Жак. — А правильно ли вы ее понимаете? Не порабощение ли собственными страстями и заблуждениями принимаете вы за нее? Помните в Евангелии: «Познайте истину и она сделает вас свободными»?

Я задумался. Разговор меня очень заинтересовал.

— А ведь я вас знал еще до нашей встречи, — вдруг сказал Жак.

— От Розины?

— Нет, о вас мне никто не говорил... Розина рассказывала о вас уже после нашей встречи. Но кроме медицины я, всё-таки, интересуюсь и другими вещами.

Он посмотрел на часы. — Вот что, у меня есть еще часок времени. Живу я недалеко отсюда. Хотите, проедем ко мне на четверть часа? Я вам кое-что покажу.

Я согласился. Доехали на автомобиле Жака до собора св. Иоанна. Зашли в старый дом. На двери блестела докторская табличка моего спутника. Прошли через пустую приемную, ничем не отличавшуюся от обычных, — кресла, диван, кипа журналов, репродукции Ван Гоговских пейзажей... Попали в небольшую комнату, где две стены были сплошь заставлены книгами. Письменный стол, где среди письменных принадлежностей я заметил странно сверкавшие большие кристаллы горного хрусталя. От темных портьер, кожаных кресел и книжных шкафов веяло строгостью.

— Садитесь, Саша, и поглядите сюда.

Я посмотрел и ахнул. Передо мной висел мой портрет, написанный Стрего.

Жак улыбался. — Я очень люблю искусство. Живопись в особенности. Не плохо ее знаю. Побывал во многих музеях в Италии, не раз в Лувре... Работы Стрего ценю, это крупный талант. Но Стрего — большой чудак, знаю от друзей по наслышке. Видел его несколько раз, но незнаком с ним. О нем мне рассказывали, как о человеке крайне нелюдимом. Удивительно, что вы с ним так подружились... Как это вышло?

Я рассказал о нашем знакомстве.

— А что вы сами думаете о Стрего? — пытливо спросил Жак.

— Это замечательный человек. Я его очень люблю, он мне как брат, как отец... У него такое душевное благородство, я горжусь дружбой с ним.

Жак пристально смотрел, как бы обдумывая что-то. Несколько раз кивнул головой, в подтверждение своих мыслей. — Это хорошо, — пробормотал он, — очень хорошо. Я рад...

Когда я увидел ваш портрет в галерее, то подумал — юный Сципион, — видели барельеф в Луврe? Художник передал в ваших чертах молодую гордость и прямоту... Мне захотелось иметь портрет у себя. А у Розины сразу вас узнал и обрадовался встрече...

— И я ей рад, — искренно сказал я.

Жак снова поглядел на часы. — Мне жаль, что мы не можем с вами беседовать дольше. Меня ждут. Но я надеюсь вскоре опять с вами встретиться.

Мы вышли из дому вместе и расстались, горячо пожав друг другу руки. Пальцы у Жака холодные и твердые, рукопожатие какое-то цепкое... Я зашагал по набережной.

— Саша! — я оглянулся, Жак догнал меня.

— Вот что я вам еще хотел сказать, — впоследствии я вас попрошу познакомить меня со Стрего, почту за честь... но пока не говорите ему обо мне и о нашей встрече. Хорошо? Я потом обьясню, сейчас спешу... Ну вот, — до свидания, друг мой!

На обратном пути я обдумывал наши разговоры. Многое меня смущало, многое удивляло. Но Жак меня интересовал. Он лет на 13 старше меня, а говорит со мной как с равным, я это очень ценил. « Друг мой », сказал он прощаясь. Я знаю что у французов это только ходовое обращение, ничего не значащее, кроме некоторого благоволения. Но у Жака оно получало полноценный смысл. Его « друг » звучало ласково и даже почтительно.. Смогу ли я действительно стать его другом? Хотелось бы.

Дома меня встретил взволнованный Стрего. — Ну, слава Богу, вы пришли... С вами не случилось ничего неприятного? А то, не застав вас дома, я почему-то начал тревожиться, места себе не находил. Вы с кем нибудь виделись?

Я уклончиво ответил, что случайно встретился со знакомым из компании Розины и что мы с ним посидели в кафе. Помня обещание, не назвал имени. И перевел разговор на другие темы. Старик успокоился.

Вечером мы уютно сидели за столом — я домалевывал, Стрего что-то зашивал и рассказывал мне о Милане, куда он ездил несколько лет тому назад.

И вдруг портрет Эллен сорвался со стены и с грохотом упал на пол лицом вниз...

Стрего ахнул, подбежал к портрету. Веревка, на которой он висел, оказалась целой. Крючок на стене тоже был на своем месте. Портрет должно быть упал от сотрясения, о чем я и сказал Стрего.

Но он был встревожен. Любовно протер полотно, оно не

было повреждено. Затем снова повесил его, но долго вздыхал и задумывался, и на мои вопросы о Милане отвечал неохотно и кратко.

Настал июль. Темная, пышная зелень вошла во всю свою силу. Кое-где уже проглядывали первые желтые листья. Издали Фурвьерский холм казался необитаемым, так скрывали зеленые кущи все строения. Золотая Мадонна над городом нестерпимо сияла, когда луч солнца падал на нее. Ветер дышал то морским зноем, то альпийской свежестью. — Чувствовалась близость юга.

Однажды я подумал, что до сих пор так и не удосужился сходить в парк Тет-д'Ор и меня туда потянуло, я сказал об этом Стрего.

— И чудесно, — обрадовался он, — давайте сейчас же и поедем...

Через час мы входили в великолепный парк — гордость Лиона. Меня сразу очаровали непринужденно раскинутые аллеи, огромные старые деревья и яркие цветники. В аллеях стояла темно-зеленая прохлада и тишина. Слышался только птичий щебет, детские голоса, да изредка странные звуки — рев... мычание...

— Это из зверинца, — пояснил Стрего. — Посмотрим зверей?

Но меня тянуло куда-то в сторону. — Посмотрим, только позже, — ответил я. Какое-то навязчивое чувство, похожее на беспокойство, заставило меня свернуть в боковую пустынную аллею. Там, вдали, под древней липой сидел Жак, пристально глядя в нашу сторону. Но завидев нас, он поспешно поднялся и удалился.

Во мне как будто бы что-то оборвалось. Я даже приостановился и посмотрел на Стрего. Но он шел опустив голову и ничего не заметил. Я облегченно вздохнул. Прошло навязчивое чувство, гнавшее меня куда-то. Я замедлил шаг и мы сели на скамью, оставленную Жаком, под лиственный шатер. Ветер приносил то дыхание роз, то какой-то сладкий медвяный запах.

— Существует предание, что здесь, где-то, затаен ценный клад, — сказал Стрего, щурясь от солнца. — В нем якобы находится, кроме прочих драгоценностей, голова Христа из чистого золота. Отсюда и название парка « Тет-д'Ор » — « Золотая Голова ».

Белая бабочка опустилась на скамью, сложила крылышки листиком — и вдруг вспорхнула... Следя за ее полетом, я за-

метил на стволе дерева чьи-то вырезанные имена, даты, инициалы... Как хочется людям оставить какой-то след своего пребывания на земле. Хоть кончиком ножа или карандаша прикоснуться к вечности. Но и липа когда нибудь свалится, несмотря на долголетие, отпущенное ей природой... Всё проходит.

Мы побродили по парку, подошли к клеткам. Посмотрели на ужимки обезьян, на величавое равнодушие львов и тигров, на метание волков. Розовые фламинго, стоя на одной ноге, застывали над водой, как огромные цветы на длинном стебле. Проплыл белый лебедь на всех парусах. Зеленый павлин волочил по песку свой роскошный хвост и подрагивал изумрудной коронкой...

Стрего подвел меня к огороженной лужайке, где медленно бродили прекрасные буйволы.

— Посмотрите, Саша, до чего скульптурны их бронзовые тела и как изогнуты рога.

Буйвол подошел к решетке и поглядел на нас прекрасными печальными глазами. Рога надо лбом образовывали точный полумесяц.

Не удивительно, что буйволов считали священными животными, — подумал я залюбовавшись. Мы долго еще гуляли, открывали чудесные лужайки, где белые цветы колыхались как туман. Вышли к озеру. Плакучие ивы купали свои русалочьи косы, в лодках горланила молодежь. Мы разговаривали на ходу и нам было так хорошо вместе. Жака нигде не встретили.

— Вижу, что вы любите природу, Саша, — сказал Стрего, когда мы направились домой. — Не в этом ли ваше будущее? Разве не интересно изучать ее законы, действовать с нею заодно, даже помогать ей? Скажите, вас не притягивали естественные науки? Ботаника?

— Да, конечно, все это интересно, но оно мне не кажется важным... это не главное.

— Милый мальчик, — рассмеялся Стрего, — а вы склонитесь над строением любого цветка. Почувствуйте всю тонкость и мудрость его организации и вы поймете, что природа наделила цветок такими свойствами и такой прелестью неспроста... Неважному она не отдала бы столько любовного внимания.

Через несколько дней я опять почувствовал внезапную тревогу и тайный голос вызывавший меня. Теперь я знал, что Жак поблизости и что он хочет меня видеть. Стрего возился с палитрой, соскабливал ножиком излишек засохшей краски.

Я встал и сказал, что пойду пройтись. Стрего не удерживал, только внимательно поглядел...

Жак сидел в том же угловом кафе, издали мне улыбаясь.

— Ну вот и хорошо, — сказал он усаживая меня против себя. — У вас есть время? Хочется с вами поговорить.

— Отчего я знал, что вы здесь? Отчего не могу противиться вашему зову? — резко спросил я.

— А зачем вам противиться? Ведь нам с вами приятно беседовать, сами же говорили. А передача мыслей на расстояние — неоспоримый факт. Звук передается волнами от центра к периферии, наши мысли тоже... Только далеко не все обладают чувствительной антенной. А у вас она есть и я это очень ценю.

Мы помолчали. Жак вдруг тихо спросил : — Скажите, вы верите в Бога?

Я вздрогнул, смутился и печально ответил : — « Верую, но помоги моему неверию ».

— Значит, вы ищете. А это самое главное. Но хотите ли вы верить в бородатого Бога Саваофа, в рай насажденный цветами, или в верховное существо, непредставимое и необъяснимое, чье дыхание оживотворяет все сущее?...

Мне было трудно ответить. С детских лет мама водила меня в православную церковь. Многое мне там нравилось —молитвенное пение, торжественные возгласы священника, но служба казалась слишком долгой. Раздражало постоянное повторение одних и тех-же слов, когда « Помилуй Господи » превращалось в непонятное « помилось »... Хотелось сказать — довольно, слышали... Вместе с тем мысль о Боге всегда приходила в трудные минуты. Хотя после гибели Роже я стал даже сомневаться в милости и всемогуществе Бога... да пожалуй и в Его существовании. А вот, поднявшись на холм Фурвьера, я искренно молился.

— С тех пор как люди населили землю, — заговорил Жак не дождавшись моего ответа, — они ищут Бога, ищут истины, чтобы осмыслить свое существование. Несколько избранных подходили к истине вплотную, хотя с разных сторон, — Будда, Христос, Магомет отчасти...

— Вы и Христа считаете только человеком? — удивился я.

— Конечно... Он жил как все. Ел, пил, трудился. Но Он обладал особой силой. И отдавал ее людям, поучая и исцеляя их. Эта сила, Саша, заложена во всех нас. Но нужно ее развивать. Вспомните, Сам Христос говорил, что все могут делать то же, что и Он, и даже больше.

— Как же такую силу развивать?

— Прежде всего общением с людьми ею уже обладающими. Конечно, она не дается сразу. Когда акробаты сгибаются в дугу, завязываются узлом и проделывают всякие сальто-мортале, они подготовляются к этому с детских лет постоянными упражнениями. Так и с духовной силой. Она требует длительной подготовки.

Глубокие темные глаза Жака меня почему-то пугали. Мне хотелось укрыться от этого взгляда.

— Это что-же, магия? — спросил я и подумал : — но есть белая и черная магия...

Жак усмехнулся. — Есть солнце и есть его тень.... Вот вам белое и черное. А в сущности это одно и то же. Вот рука! — он коснулся моей ладони. — В руке есть сила. Рука может удержать падающего в бездну, а может и столкнуть его туда. Сила одна. Всё дело в том, какое ей дать применение. Добро и зло — понятия примитивные, их часто смешивают. Надо научиться понимать, а это не так просто как кажется...

На меня находило какое-то странное оцепенение. Хотелось встать, встряхнуться, отойти прочь. Но я продолжал глядеть на Жака.

— Если хотите, — снова заговорил он, — я введу вас в общество, где все эти вопросы разбираются. Членов в нем не много, но все они уже продвинутые, в духовном смысле, люди. Это вам может много дать. Хотите? Но это тайное общество и единственное условие для вас — это неразглашение того, что вы там узнаете. Приходите сначала посмотреть, послушать. А там видно будет.

Не соглашайся — шепнул мне внутренний голос. Но, против своей воли, я сказал, что приду. И сразу почувствовал, что сделал ошибку. Подумал, что потом как нибудь отверчусь.

Жак вдруг насмешливо улыбнулся и я, краснея, почувствовал, что он прочел мои мысли.

Я отвел взгляд и вдруг увидел проходившую мимо Нини. Она смотрела на нас во все глаза. Я растерянно поклонился. Как некстати... начнет болтать, дойдет до Стрего... Вот принесла нелегкая!

Нини прошла мимо.

Я спросил Жака : — Скажите, а вам не мешают ваши занятия медициной? Что у нее общего с вашими духовными исканиями?

Насмешливый огонек в глазах Жака погас. Он ответил серьезно :

— Нисколько не мешают... Магия и медицина сплетены корнями в глуби веков. Первые врачеватели были священнослужителями. Жрецы Египта и Вавилона исцеляли при помо-

щи знания и духовной силы. Теперешняя медицина отошла от древней мудрости, но со временем к ней возвратится. Чтобы лечить надо знать причину недомогания. А она кроется не в теле, а в душе. Рак и язвы желудка, например, часто возникают после тяжелых душевных потрясений, от неудовлетворенности жизнью. Религия и наука — близнецы. Теперь их дороги разошлись и они враждуют, но в будущем это изменится.

— Вы любите ваш труд? — спросил я.

— Очень. Если бы вы знали, с какими интересными случаями мне приходится встречаться.

— Расскажите, — попросил я.

— Да вот хотя бы история мадам Ожер... До 50-ти лет она была самой нормальной женщиной, из мало культурной среды. Все ее интересы сводились к ведению домашнего хозяйства. У нее большая семья, дети, внуки... Несколько месяцев тому назад она упала с лестницы (уж очень усердно натирала ее воском) и сильно расшибла голову... Попала в госпиталь. А когда стала поправляться, вдруг у нее обнаружился дар ясновидения. Она читает чужие мысли, иногда предвидит события. Эта новая способность ее тяготит, тем более, что она связана с сильными головными болями. Медицина делает, что может. Мы продолжаем лечение, но ясновидение по временам находит на нее. Мадам Ожер еще в госпитале, моя пациентка...

— Жак, а можно мне ее увидеть? — загорелся я. — Мне всегда хотелось встретиться с человеком обладающим даром ясновидения, но не пришлось... Пожалуйста, Жак.

— Хорошо. Завтра я буду там около 10-ти утра. Встретимся у главного входа...

Жак объяснил мне как добраться до госпиталя и мы расстались. Меня очень заинтересовала будущая встреча. Когда я вернулся, Стрего не было дома. Вскоре кто-то постучался... Нини, — угадал я поморщившись.

Она вошла и оглядела комнату. — Мы одни?

— Да, Стрего вышел.

— Ну вот и хорошо. Мне надо с тобой поговорить, Саша. Скажи, ты давно встречаешься с Кадеаком?

Я пожал плечами. — Виделся несколько раз. А почему тебя это интересует?

— Это опасный человек, будь осторожен, Саша. О нем рассказывают странные вещи...

— Мало ли что рассказывают. Поменьше слушай сплетни.

Нини поглядела сердито. — Говорю для твоей же пользы... Берегись Жака. Ты слышал об истории со Шмитом?

— А что такое?

— Шмит был совсем молодым мальчиком, ассистентом

госпиталя Гранж Бланш. Очень способный, единственный сын... Они с Кадеаком очень подружились. Не прошло и года как у Шмита появились странности, признаки душевной ненормальности... А кончилось тем, что он покончил с собой. Повесился. Ему едва исполнилось 23 года.

— Причем же здесь Кадеак? Мало ли сумасшедших на свете!

— Конечно. Но Шмит оставил матери письмо... Обвинял Кадеака в пагубном влиянии. Дело замяли, но об этом много говорилось вполголоса.

— А ты видела письмо?

— Письма не видела, но достоверно знаю, что оно было.

— Благодарю тебя за твою заботу обо мне, но думаю, что все это преувеличено. Из мухи сделали слона. Сумасшедшие часто видят вокруг себя врагов и злодеев. Всё это глупости, — решительно сказал я.

— Как знаешь... Всё это я сказала из симпатии к тебе.

Нини направилась к двери. — Только ты не забывай моих слов.

Последний совет был излишним. Я и так не забыл бы этого разговора, хотя ни за что бы в этом не признался Нини. Я задумался. Действительно, в последнее время я стал испытывать странную беспричинную тревогу. Она бывала такой острой, что я иногда не находил себе места. По ночам не спал. Стрего часто на меня испытующе поглядывал. Но, по своему обычаю, вопросов не задавал. Только однажды справился о моем здоровье.

На следующее утро старик рано ушел из дому, по каким-то своим делам. Я был этому рад. Не хотелось ему говорить куда я отлучаюсь. Около 10-ти утра я дежурил у входа в госпиталь. Целый город, — думал я разглядывая ряд павильонов и зданий за оградой. Город страданий...

Вскоре пришел Жак и повел меня по длинным ходам-переходам в павильон, где находилась его пациентка. Мы проходили мимо десятков кроватей, где лежали больные. Я, с некоторым страхом, косился на их вялые лица, на вытянутые по одеялу желтые руки, на странные приспособления у изголовий — какие-то сосуды с резиновыми трубками, какие-то загородки по бокам постелей... Молоденькие сестры почтительно здоровались с Жаком. Я заметил несколько хорошеньких. Как они могут избирать такую тяжелую профессию?

Жак свернул в боковую комнату, где белело две кровати. Одна пустовала; на другой лежала пожилая женщина с закрытыми глазами. Под ними темнели лиловатые впадины. Лоб забинтован марлей. Пока Жак что-то спрашивал у де-

журной сестры, я разглядывал больную, догадался, что это и была ясновидящая.

Жак взял ее за руку и наклонился. Больная вздрогнула и испугано посмотрела на доктора. Потом отвела глаза и увидела меня. Пока Жак считал пульс, она не отводила глаз. И вдруг застонала и заерзала головой по подушке. Заостренные черты дрогнули от боли.

— Боль... — прошептала больная. — Вам больно? — спросил Жак.

— Боль... — повторила она и опять уставилась на меня. Мне стало не по себе.

— Там боль — вокруг него... — бормотала она не отводя от меня глаз. — И ему будет больно, очень больно...

Больная заметалась. Сестра склонилась над ней.

— Ну вот, Саша. Вы видели.. теперь уходите. Мы встретимся позже, — нервно выпроводил меня Жак. — Покажите ему выход, Сюзанна — обратился он к миловидной сестре, улыбнувшейся мне. Но мне было не до нее. Тягостное чувство тревоги нашло на меня со всей силой. Как в чаду я выбрался из палат. Какая-то темная тяжесть нависла надо мной и угрожала.

Когда я вернулся, Стрего еще не было дома. Я попытался заняться раскраской, но дело не ладилось. Тряслись руки. В памяти всё время вставали мутные глаза больной и ее зловещие слова. Я был уверен, что они относились ко мне. По французски « Le mal » значит и болезнь, и боль, и зло. Malin — дьявол и malade — больной имеют тот же корень. Что именно хотела сказать ясновидящая? Видела ли она вокруг меня зло или боль? А может быть и то и другое?

Я был рад возвращению Стрего. Он ласково поглядел, но улыбка его как-то оборвалась.

— Что-то вы мне не нравитесь за последнее время, Саша... Осунулись, побледнели... У вас ничего не болит?

Я поспешил его успокоить. Но не знаю, удалось ли мне это. Как мне хотелось открыть ему душу, сказать о тревоге, о сомнениях вызванных Жаком, обо всем, что я умалчивал. Но помня данное слово я сдерживался и страдал от вынужденной скрытности.

Миновал июль. Настал душный пыльный август. Город опустел. Нини уехала куда-то на юг. Мари увезла в деревню папашу Дюшена. Робер со своими отдыхал в Бретани. Мы с ним успешно прошли нужный курс. Мальчик подтянулся. Ателье игрушек закрылось до осени. Под деревьями уже валялись сухие сморщенные листья. В ветреные дни они шурша

кружились и метались по улицам. Как я понимал их бесприютность и смятение!...

За это время мы несколько раз встречались с Жаком. Мое тягостное душевное состояние не проходило от бесед с ним; напротив, вместе с интересом к его теориям, росло и ощущение беспокойства.

Жак разбивал все мои прежние понятия о жизни. Да и о смерти...

Помню, ребенком лет семи, я любил Христа особенной горячей любовью, как могут любить только дети. Как я радовался находя Его лик в каждой церкви, куда мы заходили с мамой! Узнавал Его и сердце переполнялось умилением. Потом это прошло. Но я часто, с сожалением, вспоминал о тех моих чувствах и пытался вновь пережить их. Теперь, в особенности после бесед с Жаком, я стал по-другому чувствовать Бога. Он стал неприступным и чуждым. Не Отец, но символ непонятной и страшной силы. Смерть — не возвращение души, отстрадавшей свое на земле, в Лоно Христово, но трудный переход к новому воплощению, к новым бесконечным испытаниям и новой смерти.

Права ли мама, говоря, что самое главное — любовь ко всему сущему? Прав ли Жак, утверждая, что только познанием мы достигаем высшей цели — истины?

В борьбе со всеми этими противоречиями и в смятении чувств, я решил поговорить со Стрего. Не упоминая об идеях Жака, я просто спросил старика в тот вечер, что он думает о современной науке. Я сознавал, что вопрос мой очень неточен, но в дальнейшем разговоре я собирался коснуться более определенных тем.

И тогда Стрего мне сказал то, о чем я часто с тех пор вспоминаю и наверно никогда не забуду. Сначала он просто ответил : — Наука? Что-ж, всё хорошо, что на благо человеку. А вот что именно ему на благо, об этом надо подумать.

Стрего снял с полки книгу, она оказалась Евангелием. Отыскал нужное место и заговорил :

— Вот, Саша, у Матфея рассказано, как диавол искушал Христа. Это повествование имеет очень глубокий смысл. Хотя я не богослов и не претендую на верное толкование, но по-моему здесь содержится ответ на ваш вопрос.

В первом искушении диавол говорит : « Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами ».

Затем диавол ставит Христа на крыле храма и предлагает броситься вниз « ибо написано : Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею ».

В третьем же искушении диавол приводит Христа на высокую гору и показывая Ему все царства мира, предлагает всё это отдать Ему, если Он « падши поклонится ».

Вы сами, Саша, знаете, что Христос отвечал диаволу... Но скажите, не странно ли то, что Христос согласился на эти искушения? Мог ли Он сомневаться в Себе? Мог ли сомневаться в Нем Отец? Конечно, нет. В чем же дело? А в том, по-моему, что Христос хотел дать пример людям. Потому что диавол искушал не только Христа, он искушает все человечество. А пример — это лучшее поучение, это не только слово, но и дело. Вспомните, как на тайной вечере Христос умывает ноги Своим ученикам, несмотря на их протест — « Я даю вам пример, — говорит Он, — чтобы вы делали то же, что Я сделал вам ».

А теперь посмотрите, — когда диавол предложил сделать камни хлебами, Христос отказался, но когда нужно было накормить народ собравшийся Его послушать, то Он совершил чудо и из пяти хлебов сотворил столько, что насытил около пяти тысяч человек. И в другой раз, при подобных обстоятельствах, Он повторил это чудо. Следовательно, когда к этому призывал диавол, то-есть зло, Христос не совершал чудес, но когда призывали любовь и жалость к людям, то совершал. И первым чудом Христа было претворение воды в вино, на одной бедной свадьбе, где не хватило за столом вина.

Во втором искушении Христос не бросился с крыши храма вниз, потому что к этому подстрекало тоже зло. Природные же силы подвластны Христу. Он мог ходить по водам, мог повелевать ветрам, мог вознестись на небо...

В третьем искушении Христос не принимает власти от диавола, потому что Он обладает от Бога властью несравненно высшей — « Дана Мне всякая власть на небе и на земле ».

В наше время диавол искушает ученых, предлагая совершать то же, что предлагал Христу... Атомной энергией можно почти « претворять камни в хлебы ». Мы знаем бесчисленные замены настоящего поддельным — синтетические ткани, химическая подделка пищи, химическое удобрение, пресловутый порошок ДДТ... Но что же получается? — тупик! Потому что побуждением всего этого стало не столько желание улучшить положение людей, сколько нажива и конечно научный интерес. И вот, гибнет природа, исчезают виды растительного и животного царств... Отравляется воздух, которым мы дышим, отравляется вода и то что в ней живет, отравляется почва и то что на ней произрастает. Не даром теперь некоторые ученые бьют тревогу, пытаясь удержать человечество на краю бездны.

Люди научились повелевать пространством (это отчасти соответствует второму искушению). Бесчисленные летательные аппараты бороздят небо, будоража атмосферу, окружающую земной шар и нарушая великий закон равновесия между всем сущим. « Суперсоническая » быстрота, преодоление земного тяготения, сокращение всех расстояний... Великие достижения? Несомненно! Но стали ли люди от этого счастливее? Всё это не по человеческой мерке...

А что касается « власти » — третьего искушения, то люди ее уже имеют. Каждая держава, обладающая атомной энергией, может погубить мир. И если у кормила власти будет стоять какой нибудь фанатик, то может быть и погубит.

И заметьте, что все эти открытия были бы даны людям от Бога, если бы они помнили о Нем. И тогда пользовались бы ими по-другому. Ведь Христос говорил Своим ученикам — « Верующий в Меня дела, которые творю Я, и он сотворит и больше сих сотворит... »

Но диавол соблазнил нас, мы не последовали примеру Христа. Потому что « дерево познается по плоду », а плоды нашей современной науки ядовиты. И вот еще слова Христа — « Как вы можете творить доброе будучи злы? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое ». Обратите внимание, Саша, на это выражение « злое сокровище », понимаете? — сокровище! то есть ценность, богатство. Вот и наша наука — злое сокровище.

Я все время внимательно слушал Стрего и многое из того, что он говорил, мне показалось убедительным. Вспоминался Жак, цитировавший Христа, но не признававший Его Богом. Идеи Жака не относились к той науке, о которой говорил Стрего. Но и слова Жака были, вероятно, « злым сокровищем ».

Я часто бывал у Жака. Он охотно давал мне книги из своей библиотеки, но выбирал сам то, что, по его мнению, мне следовало прочесть. Я одолел интересную, но трудную, историю магии, два тома о гностиках Египта, книгу о древних врачеваниях и тому подобное... У Жака почти не было беллетристики, зато много трудов по философии, теософии и по его специальности — психиатрии.

Однажды Жак провел меня в маленький салон, смежный с библиотекой. Главное место там занимал рояль. Оказалось, что Жак хороший пианист. Я с наслаждением послушал его игру. Он начал с Бетховенской Апассионаты. Мама тоже любила ее, но играла совсем по-другому. Только теперь я понял как я люблю музыку, и как по ней стосковался.

От Жака я, тогда, впервые услышал несколько этюдов Скрябина. Они меня захватили так, как никогда еще не захватывало ни одно музыкальное произведение. Еще, еще... просил я Жака.

— Нравится? — усмехался он. — А знаете ли вы, что Скрябин хотел своей музыкой изменить человеческую душу... и, может быть, преобразить мир?

Этого я не знал, но испытывал полную отдачу, совершенное слияние с этими странными волнующими звуками.

— Это магическая музыка! — восторженно сказал я, когда Жак кончил играть.

Он кивнул головой. Я подошел к нотной полке. На одном из корешков прочел « Шуман ». Я достал ноты и раскрыл наугад. « Warum » прочитал я название вещи и поставил ноты на пюпитр. — Сыграйте — попросил я, сам не зная почему... Жак слегка поморщился, но начал играть. Я слушал, закрыв глаза. Мне вспомнился рассказ Стрего о том, как Эллен играла эту вещь на ученическом вечере, как она волновалась и с каким совершенством исполнила ее под конец.

Игра Жака теперь мне показалась несколько суховатой.

Музыкальная фраза, со щемящей сердце ноткой диссонанса, звучала чуть чуть резковато. « Warum », — подумал я, — « за что? » или « почему? »... В передаче Эллен этот музыкальный вопрос наверное звучал печальнее и мягче. Я вдруг почувствовал как бы облегчение; проходило Скрябинское наваждение. Я как-то позабыл об Эллен за последнее время и мысль о ней мне теперь показалась отрадой.

— 15-го августа я уезжаю на месяц в Бретань, — внезапно сказал Жак. Я вздрогнул, был в это время с Эллен.

— Если хотите, могу вам предложить отдохнуть со мною, — спокойно продолжал Жак. — Расходов у вас будет не много. Оплатите только проезд. Он не слишком дорог. А комнату и стол я вам, по-дружески, предоставляю.

Я растерялся. Поблагодарил и сказал, что дам ответ на днях. Думал посоветоваться со Стрего.

— Вот что, Саша, — тихо заговорил Жак. — Помните наш разговор о нашем тайном обществе? Через неделю у нас последнее собрание в этом сезоне. Я вас туда введу, как обещал. Предупредите старика, что вы вернетесь поздно, — прибавил он, перебирая клавиши. — Иногда собрания затягиваются... В пятницу, около 8-ми вечера, заходите за мной. Отправимся вместе.

Я пообещал.

Дома я сказал Стрего, что один приятель предлагает мне отдых на море.

— Кто он? — сразу спросил старик.

Я уклончиво объяснил, не называя имени.

— Конечно, отдохнуть вам не плохо. Но я хотел бы прежде познакомиться с вашим приятелем, Саша.

Мне пришлось ответить что мой друг тоже хочет с ним познакомиться, но почему-то просит эту встречу отложить.

Стрего нахмурился. — Смотрите, Саша, я вам уже говорил о жизненных западнях. Они часто так замаскированы, что не заметны. Но тем они опаснее. Несмотря на заманчивое предложение, я бы, на вашем месте, отказался. Мне не нравится, что ваш знакомый прячется от меня. Услуга, которую он вам окажет, свяжет вас; вы достаточно горды, чтобы не принимать дорогих подарков, не имея возможности отблагодарить. А ваше содержание, в продолжении целого месяца, будет стоить не мало.

Стрего был прав. — Я откажусь, — сказал я ему и у меня словно тяжесть свалилась с души.

В ночь с четверга на пятницу я почти не спал. С вечера уснул хорошо, но мне привидился страшный сон, скорее кошмар...

Мне казалось, что я не сплю, а лежа смотрю в открытое окно. Оно, как и наяву, светилось от соседства уличного фонаря... В окне появилась темная женская фигура. Я различил старинное широкое платье, как носили в XVIII веке, на голове — сборчатый чепец. Откуда эта женщина? — думал я замирая. И вдруг похолодел, вспомнил, что окно на третьем этаже... На меня нашел ужас, я хотел рвануться, закричать, но, как бывает при кошмарах, не мог пошевелиться... И вот темный силуэт дрогнул и медленно поплыл ко мне по воздуху...

— Вот она, вот она! Сейчас прикоснется! — дико закричал я, преодолев, наконец, свое оцепенение. И проснулся от собственного крика.

Стрего зажег лампу, стал расспрашивать. Вздрагивая от недавнего страха, я рассказал свой сон. Посмотрел на часы. Было три часа ночи. До рассвета я не мог заснуть. Стрего тоже ворочался. Мы оба встали рано и пили кофе в 7 часов утра.

А в 8 часов кто-то постучался. Я пошел отворить дверь; сердце почему-то вдруг заколотилось.

На пороге стоял дядя Вася.

Взглянув на него, я сразу понял, что случилось несчастье. Я был так взволнован, что даже не удивился его появлению.

— Саша, тебе надо немедленно ехать в Париж. С отцом несчастный случай. Его опрокинул и смял грузовик... Я получил телеграмму.

— Но он жив? жив? — в смятении закричал я.

— Вчера был еще жив, но он в плохом состоянии. Надежды мало... Бедный мой мальчик!

Дядя обнял меня и всхлипнул. Потом вынул из кармана билет. — Вот, я заехал на вокзал по дороге... Твой поезд в 11 часов, есть время собраться. Я приеду следующим поездом. С этим, к сожалению, не могу. Но вечером буду с вами.

Бледный Стрего усадил дядю Васю и стал с ним говорить вполголоса. Как в полусне я достал свой чемодан, начал машинально туда складывать вещи. Не может быть... не может быть... этого не могло случиться... еще жив — сказал дядя. Это « еще » звучало так страшно. А если уже?... Вещи выпали у меня из рук, я сел и закрыл лицо руками.

Подошел дядя Вася, обнял, перекрестил дрожащей рукой. — Дай тебе Бог силы и мужества... Думай о маме, помни, что ты для нее значишь. Крепись, Сашенька, Христос с тобою!

Стрего вышел проводить дядю. Я остался один со своими мыслями. Старик скоро вернулся и принялся завертывать какие-то пакеты. Посмотрел на брошенный чемодан. — Помочь, Саша?

Вместе с ним мы кое-как сложили вещи и закрыли чемодан. Старик ничего не говорил, только поглядывал ласково и печально. Иногда вздыхал.

— Пора, Саша, поедем... я провожу тебя.

Это первое « ты » прозвучало так сердечно, что у меня запрыгали губы. Я сдержался, только благодарно взглянул.

На прощание Стрего сказал : — Помни, друг мой, что я тебя полюбил как родного, что твое горе — мое горе... Если я смогу тебе чем нибудь помочь, всегда обращайся ко мне как к близкому человеку. Если надо — приеду по первому вызову. Ты меня достаточно знаешь, чтобы почувствовать серьезность этих слов. Да? — Он положил мне руки на плечи. Лица его я не видел, отводил глаза, изо всех сил крепясь, чтобы не заплакать. Только сказал — спасибо!

До вокзала мы доехали на такси. Стрего разыскал мое место в пустом купе — дядя взял билет 1-го класса. До отхода поезда Стрего оставался со мной. Потом долго махал платочком...

Мне все время казалось, что я во сне, что всё это только наваждение. В такт хода поезда билась мысль : не может быть, не может быть... Стоит сделать какое-то усилие и я стряхну с себя этот гнет, всё будет по-прежнему. За окном убегали от меня назад станции, поля, леса... Всё как прежде. Отчего же так страшно изменилось всё во мне? Веселые дети махали на полустанке руками вслед поезду... Мелькнула большая соломенная шляпа в чьем-то саду... Все люди беззаботны, всем ве-

село. А я оторван от них, горе надо мной, как проклятие. Что сейчас испытывает бедная мама? В памяти вставало смуглое лицо отца, открытая улыбка, широкие плечи, на которых я так любил сидеть ребенком — чувствовать себя большим, пребольшим и на всех глядеть свысока. Потом мне вспомнились седеющие виски и горькие складки у губ, когда отец отчитывал меня за лень и неуспехи...

— Боже мой! Ты все можешь, сделай так, чтобы этого не было, — взмолился я.

Контролер прощелкал билет и поглядел с любопытством. Когда он вышел, я заметил возле себя довольно большой пакет. Что это? Потом вспомнил, что этот пакет нес Стрего.

Я развернул бумагу — там оказались сандвичи, апельсины, сыр, конфеты... Милый Стрего обо всем позаботился... Какой-то сверток торчал сбоку. Я развязал бичевку и мне на колени упали связки писем. Письма Эллен! Я сразу их узнал. Почему старик сунул их мне? Раскрыл наугад пакет с надписью 1949 г. Сердце вдруг дрогнуло — я узнал почерк. Принялся читать.

« Дорогой друг, спасибо за ласковые письма. Как я рада, что наша дружба, став только эпистолярной, нисколько не ослабела. Отвечаю на ваши вопросы по порядку. — Чувствую себя я вполне хорошо и радуюсь « счастливому событию », как вы это называете. По словам доктора оно должно произойти в конце апреля. Мы с Полем уверены, что родится мальчик. Назовем его Александром, в честь деда. Дитя энергично брыкается и я, со страхом и радостью, ощущаю биение этой новой жизни. И уже очень люблю своего сына. Да, да... обязательно сына — не смейтесь, пожалуйста! Ноги у меня довольно сильно отекают, но я заставляю себя ходить. Уроки прекратила до времени. Играю мало. Но потом я всё наверстаю. Мне предлагали сделать турне по провинции, но, жаль, пришлось отказаться. Надеюсь тоже до времени. Поль бодр и весел. Работает сверхурочные часы, но не унывает. Я много вяжу. Связала приданое Саше из голубой шерсти. Поль умиляется глядя на эти крошечные вещи. Иногда надевает на руку рубашенку, просовывает пальцы в рукава и двигает ими. Ткань оживает и я вижу как мой сын шевелит ручками. Когда родится Саша, вы должны приехать посмотреть на него. Конечно это будет самый умный, самый красивый и самый чудесный ребенок на свете... для меня во всяком случае... »

Я не дочитал письма. Вынул другое — мне хотелось поскорее узнать всё... Буквы прыгали у меня перед глазами. Я пробегал строчки, отмечал некоторые фразы...

« Сегодня Саше исполнился год. Он не по возрасту велик

и силен. Когда схватывает мой палец своей ручонкой, то сжимает очень крепко, не вырваться. Когда везу его в колясочке, прохожие восхищаются, а я краснею от гордости... »

. . . . . .

« Первое его слово было не « мама », а « папа ». Это так хорошо! Поль на сына не надышится. Строит чудесные планы на его будущее. Оно должно быть незаурядным, полным значительности. Поль видит сына на военной службе, по семейной традиции, а я хотела бы, чтобы он стал музыкантом или художником. Поль снова начал брать сверхурочную работу. Мы хотим, чтобы наш мальчик ни в чем не нуждался »...

. . . . . .

« Как вы посоветовали, я повесила на двери толстое одеяло, но несмотря на это, когда я пробую играть в соседней комнате, мальчик просыпается. Значит, он всетаки нервный ребенок, несмотря на свой цветущий вид. А играть всё время « пиано-пианиссимо » я не могу; придется с игрой повременить. Саше так нужен сон. Доктор говорит, что его можно приучить, но мне жаль Саши. Он всегда просыпается с плачем ».

Я перебирал конверты. Мелькали года... Все письма были наполнены мною : что я сказал, что сделал... О себе и отце мама почти не писала. Но вот, наконец, пассаж о себе :

« Да, вы конечно правы, дорогой друг, когда пишете, что забрасывая музыку я отказываюсь от своей заветной мечты и лучшего будущего, к которому столько времени готовилась. Но вы меня знаете, я ничему не могу отдаваться на половину. Теперь моя цель — счастье моего сына. Для нее я могу всем пожертвовать, не только могу, но должна. Конечно, если бы мне удалась музыкальная карьера, то наше материальное положение улучшилось бы. Но как могла бы я уезжать на гастроли, оставляя Сашу на попечение чужой женщины? Разве она могла бы так следить за каждым жестом ребенка и оберегать его так как я? Оставив Сашу я извелась бы от беспокойства, да и не смогла бы хорошо играть, будучи поглощенной совсем другими мыслями ».

« Я всетаки нахожу часок-другой для игры, когда сынишка забавляется игрушками возле меня. Техника моя, конечно, слабеет. Но когда Саша подрастет я нагоню упущенное. Всетаки, после сына и мужа, самое дорогое для меня на свете — музыка ».

Бумага шелестела, как опавшие листья. Дальше, дальше... Вот 1959 год.

« Саша учится хорошо. Он очень прилежен. Оберегая его покой я не играю, когда он готовит уроки; я заметила, что моя игра рассеивает его внимание. Я могла бы играть когда он в школе, но вышло так, что как раз в это время мне приходится бегать по урокам. Девочки в трех семьях, где я преподаю, свободны именно в это время. Ох, боюсь, что на моей музыкальной карьере придется поставить крест. Я очень запустила свою технику. Вряд ли смогу наверстать, да и поздно... Пусть мой сын добьется в жизни того, чего не смогла я и что не удалось Полю. Он переменил службу. Ему стало труднее работать, но эта должность лучше оплачивается. Поль так устает, что весь вечер лежит. Мы нигде не бываем ».

. . . . . .

« Лувр произвел на Сашу большое впечатление. Помня ваши уроки, мне кажется, я сумела передать ему свою любовь к великим итальянцам. Как он смотрел на полотна! И как я радовалась глядя на оживленные глаза ребенка! Леонардовские картины произвели на него особое впечатление — привлекли и озадачили. Пейзаж « Святой Анны » он долго рассматривал и потом спросил :

— Мама, где это? В раю или на луне? »

. . . . . .

« Здоровье мое не блестяще. Вы знаете как дорого мне далось рождение ребенка. Боюсь, что последствия от этого останутся на всю жизнь. По словам доктора я вряд ли смогу иметь еще детей. Тем страстнее я люблю и лелею Сашу, моего единственного сына... Он недавно получил первый приз на детском костюмированном вечере. Как жаль, что вы не могли видеть моего мальчика в костюме пажа Ренессанса. Он был так хорош, что я не могла им налюбоваться. Он, правда, очень красив. Похож на меня, но гораздо лучше. Посылаю его фотографию, хотя она и не очень удачна.

« Костюм темно зеленый, узор малиновый с золотом. Вам, как художнику, легко себе представить краски ».

. . . . . .

Я открыл пакет от 1963 года — время моего перелома.

« Как я тревожусь за Сашу! Смерть его приятеля на него сильно повлияла. Он стал нелюдимым, иногда резким, почти грубым. Но я все понимаю. Он в первый раз столкнулся со

страшной тайной смерти. Теперь все ему кажется бессмысленным. Он перестал прилежно учиться. Вчера отказался идти со мной в церковь, ссылаясь на уроки. Мне это было тяжело, но я не настаивала. Ах, если бы я смогла найти нужные слова, чтобы укрепить его веру в Бога, в жизнь, в самого себя. Но когда я пытаюсь с ним говорить, он почти не слушает. Прислушивается к своим собственным мыслям. Поль считает, что его надо, пока, оставить в покое и что время всё сгладит. А я боюсь за Сашу... »

. . . . . .

Вот, наконец, пакет этого года. Я развернул наугад одно из писем... потом другие.

« Моя надежда на вас оказалась не напрасной. Как я счастлива, что обстоятельства помогли вам найти Сашу. В надежде что он поехал именно в Лион (его открытка была послана с Лионского вокзала) я вам сразу написала то сумасшедшее письмо. Как хорошо что сходство со мной моего сына помогло вам его узнать. Спасибо вам за всё, что вы делаете для Саши. Ваше письмо убедило меня; вы правы, советуя дать мальчику возможность столкнуться с жизнью лицом к лицу и понять то, что он не мог до сих пор.

« Не будьте к нему слишком строги; его поступок вызван юной горячностью. Он не мог себе представить ту тяжесть и боль, которую он нам оставил. Тот факт, что он вам всё рассказал без утайки, даже о взятых деньгах, доказывает полное к вам доверие и совершенную искренность.

« Поль осуждает сына за неблагодарность, а меня за потакание. А я виню только нас, родителей. Значит, мы не сумели внушить ему крепких жизненных принципов, не смогли дать его детской душе чего-то очень важного. Больше всех виновата я — я не сумела вызвать в нем ответной любви к нам. На мне самая большая ответственность... »

Слезы щекотали мне щеки, капали на строчки... Мама, мама, если бы ты только знала...

« Сколька Саша проявил мужества в своих, неподходящих ему, работах. Рада, что вы и сами это признаете. Вася пишет нам, что боится выйти на улицу. Рассказал как он однажды убегал от Саши и как это было тяжело. Консьержка получила инструкции, не выдаст ».

« Как я вам благодарна за ваши еженедельные письма. Вся Сашина жизнь у меня перед глазами. Боже, что с ним было бы, если бы вы не приняли в нем участия. Здоровье мое лучше, сердечный припадок не повторялся. Но я продолжаю лечиться. Вы пишете, что Саша очень возмужал и переменился к лучшему. Я знаю моего мальчика — у него большая впечатлительность и доброе сердце. Все мы, в свое время, делали ошибки и на них учились жить.... Но берегите Сашу от влияния Кадеака. Мне как и вам, очень не по душе это знакомство. Вы правы, делая вид, что ничего не знаете об их встречах. Но удержите, ради Бога, Сашу от подчинения этому человеку. Здесь большая и серьезная опасность ».

Это было последнее письмо, посланное на прошлой неделе. Я доехал до Парижа незаметно, всё читал и перечитывал письма, наполненные заботой обо мне, и задумывался.

Париж встретил меня привычной сутолокой. Я со страхом подошел к нашему дому. Что с папой, что ждет меня? Дверь открыла мамина приятельница и не удивилась мне; крепко обняла и заплакала. Я не смел ее расспрашивать. Но она сама сказала, посмотрев на часы : Поторопитесь, Сашенька, в церковь, на панихиду. Папа скончался вчера, в госпитале, в 3 часа ночи.

Я был готов ко всему, но что-то как будто оборвалось в сердце, такой мучительный тупой толчок... И я пошел в церковь.

Куда теперь поведет меня жизнь — не могу себе представить, но знаю, что мой путь будет путем долга.

. . . . . .

Тамара Величковская

Зинаида ГИППИУС

О Бывшем

(Окончание) *)

1908

Пишу в Великий Четверг 10 Апреля. Как бы седьмая годовщина...

Я не много могу написать. Это трудные и страшные дни для нас.

Всю прошлую зиму и лето мы работали над литургией. И древние все изучили.

В эту зиму составили из них... не свою, но общую. Собственных молитв даже и нет, одна только из Четверга, — *« от всех »*.

И вот теперь наступают последние дни. Всё готово, всё переписано, нужное (скромное) куплено, покровы сшиты.

Готовы ли мы?

Два вопроса есть : первый — о Церкви, второй — о нас.

О Церкви, для меня, второй, ибо мы внутренно не отходим от Нее, и наша литургия — вся церковна, кроме священства. У нас трое — равны. И я Церковь больше полюблю, имея Таинство, — я знаю.

Но мы... Это для меня страшнее. Мы эти два года были нерадивы, так часто, по отношению к Главному. Не дали *наших* сил. Я хуже всех. Лжива, тупа и слаба. Я знаю! Знаю! И самый ужас мой — ужасен, ибо он страх не вечной гибели, а божеских несчастий.

Но я не для того пишу, чтобы себя обличать. А чтобы помнить, помнить эти дни! Дмитрий и Дима глубже меня их чувствуют.

Мы отложили *возможность* до Страстной субботы вечером. Чтобы соединить с Пасхальной службой.

Всю Страстную мы молимся. Отдалились от людей. И в этом мука, потому что нелюбовь. Бердяев в Вербное воскресенье в первый раз молился с нами. А теперь и его не видим.

Господи! Надо ли отказаться? Это сейчас легче. Но как без помощи вернуться в Россию? И чтож, что мы недостойны? Праведников ли Он пришел призвать к покаянью?

---

*) См. « Возрождение » № 217-219.

Но тут чувство : к покаянью, да. А мы что хотим сделать? Позвать Христа *сами* на нашу вечерю.

Я боюсь и « знаков ». Я боюсь и мыслей. Я хочу, чтоб всё мы сделали по воле не нашей. Отдаться в Его волю.

Не могу писать больше. Не знаем, что будет. И ужаса моего боюсь. Любви, должно быть, мало.

Завтра вечером, в пятницу, пойдем в церковь. Господи, отпусти, прости нам все.

Пишу 14 Марта 1911 года, через десять лет после начала, почти в годовщину десятую.

В Париже, 11 bis Avenue Mercédès, в нашей маленькой новой квартирке.

Эта тетрадь лежала здесь, в Париже, с Апреля 1908 года. Почти три года я ее не видала.

Вот что было за три года. Со дня последней записи, в великий четверг.

В субботу вечером была у нас литургия. По составленной из многих старых.

Все трое — равнослужащие, равнодействующие.

Один — всё относящееся к хлебу, другой — к вину, третий — к соединению их.

Так было составлено и переписано в наших книжечках.

Причащение так : каждый причащается сначала сам, под двумя видами, хлеб — вино, затем причащает рядом стоящего, из чаши, с ложечки, в соединении. Частицы разрезаны так. Идет в круг.

Я была третьим, соединяющим. Причащала Диму, а Дмитрий меня. А Дима — Дмитрия.

После этого мы служили пасхальную службу.

Так было. Боюсь говорить, — не знаю, — что было и как в душе окончательно отозвалось.

Помню одно : что было очень страшно. И еще : ничего, что страшно. Сомнения главные : не утарапливаем ли, не подчиняем ли это — нужде и желанию ехать в Россию?

Убеждение : что все равно недостойны будем всегда. И что сделан опять один крошечный шаг вперед. Только одна искра. Надо дальше.

Однако почему-то мы после об этом друг с другом совсем не говорили. Было тяжело, непонятно, — но невозможно говорить.

Поехали через две недели в St. Jean, около Биарица. Жили там. Потом поехали в Гомбург. Я там была больна. (Нарыв в горле). 1908.

11 Июля 1908 г. мы приехали в Петербург, после почти трехлетнего отсутствия.

Ранее скажу еще вот что, важное, о Париже.

Мы там поняли душу старой русской революции и полюбили ее. Понялась ее правда и *неправда.* Я внутренно почувствовала *темную* связь ее со Христом. Возможность просветления и тогда — силы.

Среди всех — ближе стали к нам Савинков 18), член боевой организации, человек с тяжелой биографией. С кровью многих на душе, и Фондаминский-Илюша.

Оба они чудном спаслись от петли.

Оба — наиболее видные члены с. -р. Оба — такие разные.

Борис Савинков — необыкновенно даровитый во всех отношениях человек. Поразительно умный и до испуга чуткий. Русский.

Илья Фондаминский — еврей, абсолютно непохожий на еврея. Нежный, кроткий, христианнейший, — весь любовь. Смутно верующий и веры своей боящийся.

Мы много с ними были, много разговаривали. И близко. В то время революцию прихлопнули. Происходила везде переборка, пересмотр старого.

И на новые возможности открывались души.

Мы тогда оставили их на перекрестке. Я не знаю, что мы могли еще сделать... Но *было* чувство, что оставили их на полдороге.

Железный занавес упал между нами, когда мы вернулись в Россию. Я увозила с собой только роман Савинкова *Конь бледный,* написанный, конечно, от совместных наших разговоров.

Еще : в конце парижского житья — разрыв с Бердяевым. То, что мы поняли — он перестал понимать. Отсюда его упреки в « самоволии », его, еще тогда не явный, наклон к Церкви. В 1908 г. Бердяев перешел в православие.

Обо *всем* — мы ему не говорили, но все-таки — он молился с нами, я помню его еще неверующего, я так много сил и мыслей отдала ему, любила его всегда. Был тяжел разрыв.

Ну, так вот мы приехали в Петербург.

Тата, Ната и Карташев.

Тата в Париж писала нам самые длинные письма, поддерживая близость — их с нами.

Тата цельная, изумительная, верная. Не отступала, хранила, несла. Боролась за нас с Карташевым и с нами — за него. Сцепляла свою тройку.

---

18) Примечания см. стр. 74-75.

На даче стали мы жить, в сырой Суйде, в двух домах. 1908 г.

Как ни близка Тата, — но ведь она не одна. И мы им не сказали тогда, что у нас *была* литургия.

Да и как сказать? Мы и с друг другом молчали.

Но мы с открытым сердцем пошли им навстречу. Вся Суйда для меня — холодный закрытый балкон и резкие, неожиданно резкие и далекие выкрики Карташева при молчащей Тате.

Он всё о Церкви и — против нас. Главное — мы этого не ждали. Смутились очень. У меня затаилось недоброе чувство против Карташева. Какой же он спутник? Что же это?

Все наши переживания, всё важное о революции — всё им чуждо. А как расскажешь?

Их унылые молитвы, отошедшие от наших, тоже были нам чужды.

Осенью, в Петербурге, мы поселились на нашей старой квартире, а они втроем взяли маленькую в Саперном переулке, в доме, где был когда-то *Новый Путь*.

Жизнь пошла у нас странно, суетливо, « литературно », Темно. Давило кругом в общественности. Многое разрушалось. Мы присматривались. Не понимали еще.

Тут недолговечное наше редактированье *Русской Мысли*. Поездка в Москву. (Булгаков и прочие — расхожденье).

Религиозно-Философское Общество, без нас, давно, затеянное Бердяевым и брошенное им. Едва прозябало. (Было затеяно по примеру моих старых Религиозно-Философских Собраний).

Мы его взяли на себя. Сильно подняли и оживили. Неонародничество и споры с марксистами. « Богоискатели и богостроители ».

Но всё же прежние Религиозно-Философские Собрания были не то. Там была Церковь. Здесь — интеллигентские споры.

Среди зимы — история Азефа 19). В вечер раскрытия была у меня Верочка Глебова, бывшая жена Савинкова. Отлично его знала. Мы — не видели Азефа в Париже — случайно.

Религиозная жизнь наша была довольно слаба. С Карташевым мало соединения. Тата — верная.

Пасху, однако, после долгих совещаний, мы встретили вместе, вшестером, *нашей* пасхальной заутреней.

К весне 1909 мы как-то окончательно отупели и развалились. Решили поехать на лето в Германию и Швейцарию. К тому же всю зиму преследовали нас инфлуенцы, после одной из которых у Дмитрия были сердечные перебои. 1909.

Поехали в Фрейбург. Холод. Оттуда в Лугано. Я изредка переписывалась, с Савинковым, — насчет *Бледного Коня* (он был напечатан в *Русской Мысли,* когда мы редакторствовали, я его цензурила и заглавие выдумала). Потом издал в *Шиповнике.* Общее негодование вызвал.

В Лугано Савинков написал, в Июле, вызывая нас в Париж. Будто бы очень нужно видеться.

После долгих споров — поехали. Там — Савинков и Фондаминский. Оказалось, что после Азефа они сочли своим долгом возродить боевую организацию. Оправдать бывшее. Старую революцию, смешанную ныне с провокаторской грязью.

Неделю говорили каждый день. (1909). Савинков говорил только : « Я чувствую — так хорошо. Так — надо ». Очень было страшно и мучительно. Не чаяли больше встретиться .

Уехали растревоженные. Ссорились. Жили в Гомбурге (1909) опять. Там — приезжала к нам на два дня Амалия Фондаминская 20), прелестная, милая, маленькая женщина, тихая, которую все мы любим. Она — вне « партии », но нелегальная.

Вернулись, не отдохнув. *Вторая* зима. В России — крепкий сон, мороз реакции и торжество виселиц. (1909-1910).

Мариетта 21) — умная, религиозная и... легкомысленная девушка, приявзанная ко мне. Всё понимающая. Свидания с епископом Михаилом. Начало « голгофцев ». Устройство, помимо « христианской », Вячеслав-Ивановской, секции — еще другой, нашей, с Мейером 22) во главе, в Народном Университете.

Бесплодные приемы мужиков.

Дмитрий всё время как-то болен. Жалуется на сердце. Перед Рождеством я позвала Чигаева. (1909-1910).

И Чигаев вдруг сказал, что у Дмитрия органические в сердце изменения, начинающийся склероз.

Сказал так неосторожно, что совершенно подкосил Дмитрия и пришиб меня.

С этих пор в доме у нас всё изменилось. И в каждом из нас.

Дмитрий был поглощен мыслью о своей болезни, я ею тоже. Малодушно я несчастна. Дима сбился с пути, со всего. Я ждала от него помощи, а у него, благодаря нашему с Дмитрием отношению к его болезни — нарастал какой-то хаос в душе. Я думала только о Дмитрии — больше ни о чем.

Мы стали чаще молиться, и втроем, и вшестером. И всё-таки была невыразимая тяжесть, последняя.

В конце февраля (1910) Чигаев нашел, что у меня что-то неладно в легких, и мы решили ехать на Ривьеру.

Но что же? Что же? А наше дело? Где же оно? Почувство-

валось *тем более,* что нельзя забывать о нем, медлить, нельзя так встречать и эту Пасху. (« Как ты заторопилась », сказал Дмитрий. Однако — не успела!! 1943).

Мы сказали Тате о бывшем в Париже. Карташов *от нас* держался вдали, часто шум к Церкви. Но Тата верная и наша. Она связана с Карташовым, и любит его и, главное, *верит* ему.

Мы просили Тату приехать к нам на Ривьеру и там вместе с нами причаститься. Сказали ей всё.

За час до отъезда были все у нас и вышло объяснение. Карташов говорил, что если Тата поедет, то этим она окончательно разорвет *их* тройственность и отдалит его от нас. Предлагал так : что они совершат *здесь* то же, что мы — там.

Осталось нерешенным.

После некоторых мытарств наняли виллу в Булурисе, около St. Raphaël'я, villa Paulette, у самого моря, (1910).

Оба мы (1910) больные, я — мучающаяся за Дмитрия, Дима — за меня (за мою физику) и уже с начинающимся эмпирическим озлоблением против Дмитрия.

Жили тихо. Огорчались Татой. Писали. Не знали, как быть.

И вдруг телеграмма : приедем все трое.

Это было неожиданно и так хорошо, такая радость большая, и надежда.

Они приехали. В весенних (1910) цветах встретили Пасху.

Служили литургию по нашей. Так как она вся — тройная, то было двое 1-х, двое 2-х и 2-ое — 3-х. Я была с Натой милой, тихой, глубокой — третьими.

Все мы тут соединились. Оставалось жизнью связь оправдывать.

Они уехали к Фоминой, а мы еще остались. Потом поехали в Париж, уже в конце Мая. (1910).

В Париже были у моего доктора. Мне — он не велел зиму жить в СПбурге, Дмитрию назначил, посоветовал, лечение одно, и послал еще к сердечному специалисту, Vaquez'у. Тот написал, что склероза не находит, сердечное лечение всякое отменил, специфическое.

Нервное состояние Дмитрия было ужасное. С трудами переехали на 2 недели в St. Germain. Ему нигде не нравилось. (1910).

Только что переехали — внезапно явился на автомобиле Савинков. Мы потряслись. Оказывается, уже 3 раза был в России и — возвращался цел! Чудо!

Настроение ужасное. Даже в той маленькой организации,

тесной, — оказался провокатор. Вполне не был доказан еще, но намечался.

Приезжали Илья Фондаминский с Амалией тоже. Потом Амалия заболела. Мы с Димой поехали к ней. В Neuilly у ее постели опять встретились, с Савинковым.

Мне казалось: надо *теперь* это сознательно оставить. Устремиться на медленную работу искания людей. Люди должны быть.

Много спорили.

Потом еще раз приехал Савинков в Saint-Germain. Ночевал в нашем пансионе. Уехал от нас... куда?

Вот мы опять в Петербурге — перед дачей, которую наняла Тата. Большой дом, в Новгородской губернии — Сменцево. (1910).

Помню это время как во сне. Мало молились. И с Карташовым уже не встретились, он уехал к себе.

В Сменцеве помню какое-то уныние. Приехала Оля Флоренская 23) с Сережей, — мужем-братом, Троицким. Дима в это время уехал к себе в Богдановское.

Дмитрий —

Пишу в Париже, *19 Марта 1912* в страстной понедельник. Пишу, может быть в последний раз. Очень тяжело.

Тяжело и страшно.

Обо всем бывшем напишу.

Кончила я летом в Сменцеве.

Осень (и зима) (1910-11) была тревожная. Епископ Михаил, Мариэтта... Между нами — нехорошо как-то.

Собирались уезжать на юг. Вдруг телеграмма от Оли Флоренской :« Сережа убит ».

Его нежданно и неповинно зарезал ученик в гимназии.

Тяжело и страшно было. Она звала помочь, помолиться с ней. Я не поехала. Ведь могла же, могла, — не поехала. Она любит меня, нас. А мы недостаточно. Она верит сильнее и пламеннее.

И вот мы (осенью 1911) в Париже, в Hôtel Iéna. У меня ларингит. Прожили неделю. Виделись с Илюшей, Амалией. Савинков Борис, говорят, на Ривьере.

Поехали в St. Raphaël — были там 1 Декабря. После мук искания остановились в Адау. (Зима 1911-1912). Жили там не хорошо. (Погода все время солнечная).

Дима тяготился жизнью нашей — отельной, внутренно пустой, ничем мы были не связаны. Странно уже менялись на-

ши отношения... Стал говорить, что хочет съездить в Россию, один...

Как я противилась!

В Адау (1912 зимой) к нам приезжал Борис. И кое-кто из товарищей его. Наняли они виллу (очень холодную) в Теуле, близ Канн. А мы скоро переехали в Канн, в тот же (первый наш) отель Estérel, даже в тех же комнатах. (Но уже в 1912).

Надо вот что сказать раньше : с осени уже, в СПб. еще, мне стало думаться, что надо как-то закрепить наше, составить и написать хоть главные положения нашей profession de foi, что ли, не знаю, как назвать. И чтоб было там и наше отношение к общественности. К данному моменту тоже, к действию, к самодержавию, к революции и т. д.

Тата отнеслась положительно. Но представляла скорее, как общую сводку идей.

Дима же — сразу отрицательно. Он провидел тут некую конкретизацию. А давно уже перестал верит : 1) в Дмитриеву способность к какой-либо реальности, глядя на него, как на риториста, 2) вообще в *нашу* способность реализовать идеи.

Дима вообще уже тяготился жизнью нашей, ибо ни общего быта создать мы не сумели, ни общего дела. Приобретенное понемногу утеривали. Дмитрий был житейски равнодушен, молча занят болезнью своей, а то поглощен совсем романом *Александр I,* который писал. (1912, начал раньше).

И на почве « программы », как мы называли, у нас начались с Димой вечные споры — серьезные несогласия.

Совместная жизнь, особенно за границей, когда у Димы не было постоянных « малых » дел журнальных, не было близких — матери, родных, — становилась тягостна.

Ну вот. Так мы живем в Канн. Часто приезжает Борис. Он все еще « в деле », т. е. налаживает свое « дело » (царское) 24), но всё хуже и безнадежнее, людей мало, время идет.

Разговариваем. Он сказал, что за эти два года дело так взяло его, целиком, что он *сам* никуда не двинулся, не мог ничего думать. Старое дело. Но сознательно старое, как таковое взятое.

С Димой внутренняя тяжесть. Его желание уехать.

В эту минуту получилась весть от сестры его Зины, что Ратькова 25) запутали в какое-то серьезное дело (служебное), и спрашивала, когда Дима приедет.

Я, конечно, виновата. Но мне казалось, что этот отъезд Димы будет обрывом какой-то натянувшейся внутренней нити. Тяжело очень его отпустила.

Дело с Ратьковым кончилось ничем. Думаю искренно, что

если б Дима раньше не *хотел* уехать, я бы иначе его отпустила.

Вернулся через три недели. Совсем чужой. Так почувствовалось. Тут опять моя вина. Я ему за это время не писала. С числа (когда он сам просил), посылала телеграммы. Но не хорошие.

Всё равно. Так вышло. Внутренняя нитка, та, — порвалась.

За время его отсутствия у нас гостила (в Диминой комнате, рядом жила) милая, нежная Амалия. Неделю. Вместе бывали у Бориса, в Теуле. Там было мрачно. Товарищи мрачные. Приехала больная М. А., — невеста Сазонова 26), который только что принужден был отправиться на каторгу.

За Амалией (и к Борису) приехал Илюша. С первого слова объявил : « Боевая организация ликвидируется. Нельзя убивать два года ».

Амалия и Илюша уехали. Потом и Дима приехал. С Борисом продолжали видеться. Он еще как-то не опомнился от ликвидации.

Но потом говорили много. За идею « программы » Борис уцепился. Говорил, что, в самом деле, толком ничего не знает, — да и как, собственно, это узнается? « Полное собрание Мережковского, что ли, читать? »

Тут еще, рядом : пылкая и безумная Мариэтта без нас связалась с « голгофцами » (епископ Михаил) — и принялась писать нам самые неосторожные письма о революции, рабочих, шпионах и т. д.

Дима всё резче стоял против всего : против всякой « программы », против всяких наших тяготений к действиям, к выявлению, к близости с революцией и революционерами.

В печальном состоянии мы вернулись в Париж. (1912). А надо было решать : уезжаем ли через неделю, или берем pied-à-terre, квартирку, и живем еще месяц, —чтобы вернуться только к Страстной.

В Iéna тяжкие дни, горькие ссоры. Дмитрий — точно отсутствовал : он соглашался со мной, но как бы в пол-глаза. Не отдавая себе полного отчета. Занят был романом *(Александр I)*.

Один момент я поняла, что напрасно, что судорожные мои усилия, глупые, может быть, — не приведут всё равно ни к чему. Но потом опять показалось мне, что надо еще держать то, что можешь, пока можешь.

И мы наняли эту квартирку (1912). Новую, маленькую, неудобную для трех, неприятную Диме, который только и ду-

мал теперь о том, как бы « не мешать » Дмитрию, не сталкиваться с ним в быту.

Я взяла кватиру на себя — платила деньгами романа, который написала.

Мы остались в Париже. Мелочи, мелочи, Димина тоска и ожесточенная покорность. Борис остался на Ривьере. Были Амалия и Илюша.

Амалия милая, женская, любящая. Илюша — я уже писала о нем. Странно : такой христианнейший, и что-то мешает ему подойти ближе. Какая-то высшая честность : « Я не могу. Я людей люблю больше, чем Бога. Всё, что вы говорите — верно. Но я не имею права... »

Борис — другой. Он тоже честный, но он прежде всего — умница. Конечно, от реальной веры он еще дальше Илюши. А, может быть, — ближе... Не знаю...

С Илюшей говорили часто, долго, иногда хорошо.

Перед отъездом — тревога. Тата с оказией написала, чтоб мы не возвращались, что нас могут арестовать за сношения со здешними, что какого-то Макарова уже арестовали за то, что он был у Бориса.

Поехали всё-таки. Трусили на границе. Дмитрий больше всех *выражал* трусость (хотя он настоял ехать), а Дима наматывал на ус. Он следит за Дмитрием, ничего ему не прощает, всё замечает, все преувеличения, и всё складывает в сердце.

Обошлось (1912). На вокзале, с другими, встретила нас и Оля Флоренская, которая стала жить у нас.

Пасху мы встретили плохо. Между нами было не хорошо, это чувствовалось, а тут без нас у них (у Карташева) произошел какой-то уклон к Церкви. И начало дружбы в Вячеславом Ивановым.

В субботу мы разделились. Карташев и Ната пошли к заутрени, мы, Оля и Тата — дома. Кончили свое, и долго дожидались тех, кто был в церкви. Долго, смутно.

Пришли. Потом пришел и Мейер.

(Мейер — он к нам давно подходил. Отвлеченный, умный, и какой-то « странник ». Любви у нас к нему особенной — ни у кого. Хорош и с Татой, и с Карташевым. Особенно уважает Дмитрия. Чисто русский. Бывший социал-демократ, потом был и « мистический анархист ». Подходил искренно и тяжело. Он женат, имеет семью, но всё это вдали).

Вот так встретили Пасху. (12 г.).

После начались у нас частые разговоры. Присутствовал и Вячеслав Иванов. Выяснилось ложное соглашение с Карташевым.

Карташов, главное, против « революции ». И нас он очень

не любит. Подозревает всегда и враждебен. Бывало даже, он истерически бранился и убегал домой.

Говорили о « программе ». Мейер очень стоял за. Но както всё спуталось и замутнело.

Дима всё время был против.

Оля тихая, молчаливая, верующая — по-нашему. Страдающая. Любит нас больше, чем мы достойны. А мы — опять и опять верно то же — нет любви.

Мейер весной еще ближе подошел. Молился с нами.

Уехали мы на дачу, — в Подгорное. Дима остался в городе, — « отдохнуть » от нас. Уехали мы с Дмитрием, потом приехали Тата и Ната. Вскоре и Ася, но через несколько дней отправилась в Швейцарию.

В это лето, я уж не помню как, но дольше всех жил Мейер. Он приехал раньше Димы. Карташев с сестрой был за границей. С Мейером они так и не съехались.

С Мейером мы пробовали писать эту несчастную « программу ». Тата участвовала, Дмитрий приходил полуслушать, не увлекаясь, был и Дима, — протестующий. Написали кратко, кое-как, сами не зная, для кого, и что это такое — исповедание веры, воззвание или « вообще ». Все принципы смешались, каждый забыл, чего хотел.

Остановились на положениях отрицательных. Ну, это долго писать, всё равно. Не эта программа — другая, по ней — полнее, и такая же несовершенная и никому не нужная, — не пригодившаяся, будет лежать в этой тетради. (Ее нет, потому что весной 12 г. я отдала ее до свидания Б. Н. Моисеенко, а осенью он уехал в Россию освобождать Брешковскую 27), был арестован и ныне находится в Иркутской тюрьме. Бумаги его в Париже у Амалии, а Амалия в Ментоне). (14 Апреля 1913 г.).

Всё-таки это было начало какого-то действия, или обязательство, уклон к нему; а Дима для « нас » отрицал всякое действие.

Да, у нас ничего не было : ни способностей, ни личной святости, ни мужества, ни нужных людей. Но мы должны *хотеть*, чтобы это всё было. Дима же стремился поставить крест на нас и на хотении.

Или — Господи, Господи, — я не права, я одна что-то « хотела », одна, — значит надрыв, упрямство, значит нельзя, не то, не то...

Несчастие наших личных отношений разрасталось. Диме тяжка жизнь с нами, быт Дмитрия. Думали мы вдвоем, говорили. Что же, — « развестись »? Так уж подошло, что не стало и страшно это страшное слово.

Осенью Дима опять уехал. В Сентябре Дмитрий хотел

ехать со мной в Малороссию (всё для романа) — не поехали сначала из-за торжеств (1913), а потом из-за катастрофы убийства Столыпина шпионом.

В Петербурге жили все день за днем. Я не знала, чего хотеть : ехать в Париж?

К тем? Но как, когда так плохо у нас внутри, так ничего, ничего, — и только холод и уныние?

Тут к нам стала Половцова 28) подходить. Через Мейера. Очень с огоньком. Карташев у себя, от себя « собрания » предложил, — говорить о Церкви. Было нудно.

Несчастная легкомысленная Мариэтта опять явилась из Москвы. С ней тоже много было тяжести.

Ничего я не могу толком написать. Так же у меня здесь туман выходит, как и на жизнь, и на Дело, и на душу наплыл у нас туман.

Протянули Декабрь (1911 г.) в сборах в Париж. Дима очень не хотел ехать. « Я не выдержу, будет безобразие ». Но как же мне было с этим помириться? Зачем же тогда Париж, и все они, милые, и это сохранение связи, и эти надежды, зачем?

Нет, или хранить — или кончить. Не надо обмана. Но серьезно, серьезно! Признать, что было — и ушло. Нету. Не вернется.

Страх обступил меня со всех сторон. Со всех! Я не хочу судить себя, я не могу, но я всем отдаю себя на суд и согласна с самым суровым осуждением. Но я всё перестала понимать, я ничего не могу, я только боюсь.

Дима « покорился », — поехал. И пошло тяжелое безобразие. Вечное раздражение, тяжелое уныние, безделие и молчание. Из « своей » жизни он меня давно выкинул. Ничего не рассказывал мне, и в минуты непередаваемо тяжких разговоров было одно : « Я разлагаюсь. Я потерял желания — всякие. У меня маленькая личность — но я за нее отвечаю. Это какой-то последний позор ».

Да, позор. И ведь я верю, я вижу, — при всем этом — он меня любит! Любит. И в правду, всё ту же, верит. В Бога верит. Как же это всё случилось с нами? И что я, безумная, хотела « хранить » еще?

Среда Страстная, тогда же 12 г.

[Надо кончать. Завтра едем в Россию. В Великий Четверг. В 11 годовщину Бывшего. Встретим Пасху в Берлинском вагоне].

В Париж приехали 28-го (1911 г.) Декабря, встретив Рождество в СПб., — с Мейером, ими тремя, Ксенией Половцевой

и Мариэттой. Было как-то... не для себя — для них. А что им можно дать, не имея?

В Париже Бориса не было. Живет в Сан-Ремо, — с больной М. А. и кое-кем из товарищей. Был здесь, ожидая нас, но уехал.

Илюша и Амалия.

Амалия по-прежнему мила, но этот Моисеенко, — при ней, — делает ее как-то хуже. Он — бывший товарищ Бориса, но с ним разошелся.

Вообще — в партии нелады и, главное, какие-то мелкие, нудные. Плохо. И между Борисом и Илюшей какие-то недоразумения, отчасти из-за нового романа Бориса. Мы его читали, прислал. Но нет большого шага вперед после *Коня*. Чувствовалось, что надо видеть Бориса.

С Илюшей мы говорили много. Приходил к нам, как Никодим. Со всем согласен, но что-то есть в нем удерживающее.

Читали ему программу. Говорил, что он этому может отдаться только вполне, до конца. А так — сейчас не может. И вместе с тем — мечтает о каком-то « уходе ». Не ближе ли он к православию?

В смысле « революции » — у них какое-то « правенье ». Хотят « культурной работы »...

Дима, который иногда молчал, иногда говорил (он *против*, ведь, программ) — однажды предложил хорошо : издать здесь общий сборник по этим вопросам. Но партийный, т. е. под редакцией Фондаминского и Савинкова.

Казалось бы! Но и на это он, Фондаминский, не пошел. Боится ответственности... перед собой?

Впрочем, он обещал подумать обо всем. Это было уже когда уезжал в Давос. Заболела Амалия, легкими, — и они внезапно уехали в Давос.

Мы остались в Париже нелепо — одни.

Последние два раза мы читали с Илюшей Евангелие. Молиться он еще не мог. Но крестил нас сам.

Расстались грустно, но с тем, что еще непременно увидимся. Была речь о Пасхе. Илюша сказал, прощаясь : « Где бы вы ни были, я к вам приеду ».

Дмитрий очень боялся ехать к Борису в San-Remo, — да и действительно : они окружены сыщиками, письма все читаются. У нас в СПб. сыщик не отходил.

Хотели мы видеть его в Париже, на возвратном пути. Думали еще пожить здесь весной недели 3. А пока поехать в По.

Дни перед отъездом в По не хочется и поминать. Молила Диму : « Поезжай лучше теперь в Россию, к Пасхе вернись в Париж ».

Не поверил? « Поздно. И ты хочешь спасти Пасху? Это меня оскорбляет ».

Уехали. В По — сплошной бред, с первого мгновенья. Отели, Дмитриево раздраженье, та его невыносимость, которая чужому в корне невыносима.

Сцепив зубы, Дима поехал в Cambo. Там нанял комнаты, хотя я была против. Но там Дмитрий, хотя сам хотел — сделался еще невыносимее. Решил ехать назад, в По.

Какая непрерывная, невероятная внутренняя мука. Дима сказал, что он хочет ехать в Россию. Хочет от Пасхи, хочет не с нами, хочет просто русской Пасхи в одиночестве.

Это уже было так серьезно, как никогда.

Тут сложно, сложно. И ответственность перед собою, и перед старухой матерью...

Он давно ждал ее смерти, хотя она была здорова. В неохоту уезжать и это вливалось. Всегда. Господи! Да я ли этого не понимала? Я ли?

Но годы не уезжать от нее — не значило ли это сидеть и ждать ее смерти? То же сказал Диме недавно и Ратьков.

Всё равно. Вин столько на мне, что я не знаю, куда ниже склонить голову.

В Cambo я просила Диму : « Пойми, что это серьезно. Вот только пойми и делай серьезно. Не как "тупой бунт раба" (его выражение). Надо расстаться, жить отдельно, — будем, но с сознанием, достойно ».

Приехали в По, в те же тяжкие, намученные комнаты Gassion'a. Весна кругом, радость, воскресенье, — а на душе тьма и мука.

О Дмитрии что скажу? Порою понимал, и старался, — порою опять уходил в себя.

Наш разрыв с Димой — дело не личное. Это — *наш* отказ от Дела. Распадение на личности. Идей — у нас никаких и нет. Наша идея — воля к *воплощению* идеи вечной, старой. Ниточка была, а рвется ниточка — для каждого из нас — более ничего. И говорить, вечно говорить о, — нельзя, обман.

Да, но и так — больше нельзя. И так — ничего нет, ложь, безобразие.

Вот последнее, что я предложила Диме. Последнее для теперь, для Пасхи. Чтобы встретить и с Илюшей, вместе.

Поехать к нему, на Ривьеру (они хотели туда из Давоса). Илюша нам отказал.

Написал, что не надо, что не может, что не хочет с нами видеться, обдумал всё в одиночестве (я знала, что плохой это советчик) и ни к нам не приедет, и ничего не хочет. Неумело

написал и страшно. Амалия написала, что они едут во Флоренцию.

Больше мне было нечего предложить Диме. Опять сказала : « Уезжай ». Ответ : « Поздно ». Да, да, было « поздно »... И вышло поздно...

Не знаю как, почти не помню как, — мы собрались ехать всё-таки на Ривьеру, в Канн хотя бы, чтобы с Борисом увидаться. Что говорить с ним, зачем — не знали. Но чувствовалось, что надо видеться.

В понедельник Дима уехал в Париж на два дня, чтобы там повидаться с Ратьковым. (Дима часто уезжал, любил — в Шартр, Лурд... Любил один).

В четверг он вернулся в По. Взяли билеты на Тулузу-Марсель. Борис уже писал, что рад, ждет.

В пятницу днем ездили все вместе (как редко!) смотреть летающих. Дима был вначале очень мрачен.

Пообедав, мы прошли к себе (16 Марта), а Дима, как всегда, остался пить кофе внизу.

Было пять минут десятого, когда он вошел, в смокинге, и протянул мне телеграмму : « Maman apopléxie, position grave ».

Вот и всё. Всё понятно.

Ехать он уже опоздал. Мог только в 6 часов утра, в Париж — и дальше.

Помню, что мы молились в этот вечер. Что Дима говорил : « Нет, я так не могу. Надо помолиться, одуматься ». И потом : « Я всегда тебе говорил, что я вас возненавижу, если она без меня скончается. Но теперь этого нет, помни. Не знаю, что будет, но теперь нет ».

Эту ночь с ним мы провели странно : в печали, во сне от печали.

На рассвете голубом он уехал.

Я знала, что он ее не застанет.

Мы решили вместе, что поедем из По в Париж, а в среду — к нему, в Россию. Поздно, поздно, но всё поздно.

Дима из Парижа уехал с Ратьковым. Из Берлина я от него получила телеграмму : « Мама скончалась не приходя в сознание. Очень мне трудно ».

Он будет один в ту минуту, когда он — был со мной. Это незабвенно.

И вот мы в Париже. Уехать в среду нельзя — нет билетов. Нет и на субботу. Едем завтра с остановкой в Берлине. Пасху встретим в вагоне. И весь первый день в вагоне. Только 26-го утром в СПб.

Господи, Господи! Прости мне, прости нам. Что мне делать, проясни душу мою.

Кончаю, запираю книжку мою, здесь оставляю.
Господи, помоги нам. Помоги, научи, что мы можем?

1912
Апрель-Май

Пишу скоро, очень скоро после последней записи. Опять в Париже! Мы, приехав в СПб 26-го Марта (как я и думала), уехали опять в Париж 4 Апреля (в день затмения солнца). Пробыли, значит, в России всего десять дней. Напишу всё кратко.

25-го Марта, в день Благовещенья и в первый день Пасхи, мы были утром на русской границе, в Вержболове.

И там жандарм, по телеграмме из СПбурга, отнял у Дмитрия рукопись его романа *Александр I*. (К счастью — небрежно, не всё, а какую-то часть).

Дмитрий страшно взволновался. Думал — арест.

Приехали. Мороз. Дима на вокзале, среди сыщиков.

Пошли мучительные дни. Возня с этой рукописью, газетчики, Дмитрий ходил к директору департамента полиции. « Всё это по закону ». « А следят за вами — у вас знакомства ».

А тут тяжелые разговоры с Димой. Он отчудился, я — озлобилась. Какие тяжкие вечера! Однажды Дима даже сказал, при Тате и Дмитрии : « ...и я жалею, что вы с Дмитрием сюда приехали... »

На другой день внезапно объявили Дмитрию по телефону, что он привлекается к ответственности за *Павла I*, он и Пирожков 29), и суд 16-го Апреля. По 128 статье (« дерзостное неуважение и т. д. ») — minimum год крепости, оправданий не бывает.

Дмитрий думал, что уже 16-го суд и над ним, и первое его слово было уехать. Выяснилось, что 16-го суд только над Пирожковым, а Дмитриево дело выделено за « неразысканием ».

Адвокаты, совещания, прокуроры, баронесса... 30) ад.

Уехать всё-таки было разумно, по многим причинам. Мы достали паспорт и уехали.

Отсюда Дмитрий телеграфировал прокурору, что он не скрывается, явится к следователю по прибытии. Дело Пирожкова поэтому отложили. Расчет в том, чтобы затянуть производство до осени. А там еще затянуть как-нибудь.

Конечно, я уезжала, чтобы возвратиться. И конечно я считаю, что Дмитрию нельзя и не надо садиться в крепость.

Мы могли бы уже давно вернуться, но намерены выехать лишь 16-го (29) Мая.

Дело не в том. Дело опять в том, что эта история порвала, кажется, последние нити между нами и Димой.

Он отнесся крайне отрицательно к желанию Дмитрия уехать, — « удрать от ответственности ». Дима — лоялен и неверен. Странно — и так. Он не отвечает за себя, перед собой лично, — и всегда готов « честно » отвечать перед всяким правительством. Его лояльность опять была оскорблена Дмитрием. И опять он, с презрением : « Не прав ли я был, куда же годны все эти риторики о революции, когда за слова свои не желают отвечать? »

Да, так было. Так осталось. И всё ухудшается.

Последнее письмо Димы — предел.

Не могу писать о нем. Скажу кратко : подозрения ужасные, вернул Дмитрию те деньги, которые взял на дорогу из По, когда мать умирала. Упрекает меня — в чем? Господи.

Лучше кончу сейчас. Через три дня мы уезжаем. Я еду с мукой, тяжестью и отвращеньем. Димы прямо боюсь. Какое у него страшное, глупое и злое сердце.

И все ложь кругом. Задохнуться можно от лжи. Я перестала понимать. Если б пожить где-нибудь одной, далеко, — вот бы счастие.

А послезавтра — Троица. Не хочу и вспоминать ее. Все-таки хорошо, что хоть на Троицу мы не в Петербург, не с Димой, не с Татой.

Вот до чего я дошла. Когда вернусь к этой тетради? Когда увижу ее? Да и что записывать?

Одно : нельзя сделать, чтобы не было бывшего. Этого никто не может сделать.

Тем хуже. Но я все-таки говорю : « Пусть было. Благословляю его. Люблю его. Живое оно для меня ».

И люблю Диму, и всех, кто со мной был в одном.

Вот, молиться только не могу. Давно уж не могу.

Мамочку вспоминаю. Она за меня молится, я так чувствую.

Поможет Господь.

Всё тогда же, теперь же, несколько слов в последний здесь вечер.

Мы остались еще на неделю, — завтра 23 Мая, — потому что я заболела.

Доктор нашел у меня 2 плеврита и процесс. Было похоже, но теперь я не верю, верно острая простуда — и прошла.

Дмитрий был вне себя, — от отчаяния, что еще остается. Лечил меня всячески, мучил настроением ужасно.

Дима же просто на-просто не поверил. Думал, что я на-

рочно, из « мстительности ». Через долгое время написал — Дмитрию, очень, очень плохое письмо. Мучительно так всё было. Но не про это я хотела.

За день до нашего отъезда, вчера, приехал Савинков. Со шпионами. И Дмитрий решил — его не видать. Нам завтра — граница.

Мне казалось, что *этого* — как-то нельзя. Но нельзя и насиловать чужую психологию. Дмитрий утомлен, измучен, ждет ареста.

Савинков должен был приехать вечером вчера. Днем я поехала к Амалии. (Я уже выезжаю). И вдруг он пришел туда.

Был мучительный разговор. Какой мучительный. Я была взволнована до последних пределов. Не помню, чтобы когда-нибудь так.

Я Дмитрия защищала, но — чувствовала себя, нас, *внутренно* не правой в какой-то точке.

Всё так, а всё-таки *нельзя* почему-то было это сделать. Или нельзя говорить о многом.

Неужели Дима прав? Неужели мы « озирающиеся »?

Вот где было что-то вроде « спасанья животишек », по выражению Димы. А вместе с тем и Савинков во многом неправ, не на верном пути.

Не так бы я с ним говорила, если б не это чувство стыда и отчаяния — перед собой, не перед ним.

Амалия, любящая, нежная, стояла за Дмитрия. Но ведь всё равно, остается всё это. Остается, что после всяких слов, когда то и се — оказалось, что выгоднее бежать от человека, — « помощника ».

Я никого не осуждаю, слишком люблю Дмитрия, но Боже мой, Боже мой, как же быть нам?

В каких-то тисках внутренних моя душа.

Диме я верила, т. е. в него, как-то вопреки всему. И дым надежд моих разлетелся.

Здешних люблю сильно, глубоко. Амалию больную и Илюшу. Неужели все-таки, все-таки, не поможет Господь?

Сколько отравленных воспоминаний.

Темна ограда,

И я живу, и нет конца.

Измочаленная душа моя, но ни мгновенья ропота на Бога. Напротив, благословенье, потому что всё это не Его рука, это мы сами, мы виноваты.

Только о помощи слабая, робкая, вечная мольба.

1913

Страстная Суббота, *Париж*

Еще год прошел. Опять здесь, опять пишу перед отъездом в Россию.

С тех пор, с последней записи, было : мы вернулись в СПб. (12 г.). Кошмар предстоящего процесса. Тут же вынужденная перемена СПбургской квартиры — взяли первую попавшуюся. Дима сказал, что все-таки еще хочет жить с нами.

Лето в Верине, около Ямбурга. Хлопоты насчет процесса.

18 Сентября он состоялся. Я была в суде. Уже ясно, что кончается ничем. Все были за Дмитрия. Щегловитов его вызывал на частное свидание.

Дмитрия оправдали. (1912 г.).

До 12 Января мы жили в СПб. Жили довольно плохо. С Димой глухие и острые притом — нелады. И он заболевал печенью.

За границу с нами не поехал. Остался один. Было нехорошо. Сказал, что потом приедет, но видно было, что не хочет приехать.

А зиму (12-13) Карташев очень усилился. Такой ясный. Стал председателем Религиозно-Философского Общества. Деятельный, понимающий. Мейер хуже, очень было с ним, подчас, подозрительно. Он все мечтал о Ксении Половцовой, уехавшей во Владивосток, ходил к Власовой, которую отстранил от Таты.

Вообще с Татой они очень воевали.

Рождество (новый 13 г.) встретили у Карташева и Таты, вместе с их « питомцами », *не для себя.*

Для себя собирались очень мало.

С 14-го Января (1913 г.) я и Дмитрий вдвоем в Париже — недели три-четыре. Потом поехали в Ментону.

Оттуда мы вот только завтра, 14-го Апреля (1913 г.) будет неделя, как уехали.

В Ментоне Амалия и Илюша, в Сан-Ремо — Борис Савинков.

Первое время в Ментоне — очень мучительно из-за Димы. Надо ему было приехать. Много я передумала, много с Дмитрием переговорили. Наконец я написала Диме письмо, настоящее, о приезде.

Он там заболел серьезно, припадками печени.

Перед самым отъездом опять припадок.

Через день после приезда в Ментону — опять припадок. Только после него стал поправляться.

Но очень хорошо, что он приехал. Во всех отношениях.

С Амалией и Илюшей, хотя фактически они на прежних

позициях, мы сблизились внутренно, как никогда. Илюшу я поняла изнутри и полюбила еще больше. Надо терпение и любовь, тогда всё будет.

С Борисом мы виделись раз пять. Почувствовалось, что он гораздо более *бессознательный* человек, нежели мы думали. Индивидуалист. И всё у него недодумано. Илюша его понимает. Любит, хотя Борис ссорится с ним. Борис и с нами глупо ссорился, при Плеханове.

Мы были у Бориса в Сан-Ремо 2 раза. Раз с Илюшей, другой раз с Димой.

Вилла Vera — удивительная вещь. Ребенок толстый — и умирающая, белая, воздушная, прекрасная М. А., среди цветов. И озлобленный, несчастный, измученный Ропшин 31), часто городящий ахинею. О двух партиях — мирной обще-социалистической и другой, отдельной, террористической, на суровых « моральных » основах.

Лукавый эс-дечный обер-буржуа Плеханов — тут же, благосклонно готовый поглотить и Бориса, и Илюшу, если они к нему полезут.

После всего, от всего-всего, — одно у меня общее, трезвое, твердое понимание : Надобно с безгранным терпением и с постоянно-растущей (поливаемой) любовью относиться к явлению жизни и человеку — каждому.

В словах — это обыкновенность. А в деле — это сдвиг души. Длительное, мягкое усилие. Ясное принятие трудностей и печалей терпения.

Вижу всё, вижу нас, равнодушных, косных, слабых — и ничего, уныния нет. Держаться надо. И вот к этому просить помощи.

Тата бедная всё больна. Уже месяца два. Уедет, едва мы приедем. Внешне всё несходится. Столько трудного, столько тяжкого. Но благословение пусть будет на том, что есть. Мы не стоим заботы, которая о нас.

Помню, помню нашу последнюю Пасху в Париже, ту, когда так же куличок стоял в углу и та же Clémence ездила за ним в русскую церковь...

Сегодня у нас ничего нет. А тогда, казалось, так много было. И уныния, однако, не хочу я, и не место ему.

Сегодня заезжали с Димой в русскую церковь. Так трогательно, так тихо и темно. Стоит плащаница. Пусто. Я люблю церковь. Я не люблю российской маски ее.

Кончаю сейчас верой, благодарностью, тишиной, надеждой. Через час, через два скажем : « Христос Воскрес! »

Пишу здесь же, в Париже, в четверг 1 Мая 1914 г.

В прошлом году : (1913 г.) вернулись в СПб. в Апреле, сейчас после Пасхи.

Тата, перенеся болезнь, тотчас же после нашего приезда уехала за границу.

Май мы провели в городе, очень дурно, со всеми надо было говорить. О многом.

Видели Бердяева. Как далек! Видели Борю Бугаева. Еще дальше. Этот у Штейнера 32). И Бердяев к нему направлялся. Но еще не штейнерианец.

Лето (1913) провели не особенно удачно. И внешне — плохая дача; Оля Флоренская у нас; она — близкая-далекая, что хуже всего, и тяжелая. Внутренно же была мучительная история из-за Диминой поездки в Карлсбад.

Я обещала ехать с ним — и не смогла. То-есть мучилась, что не могу Дмитрия покинуть.

И было тяжко, но оба они оказались лучше, чем сами думали. И сошлись как-то хорошо из-за этого. То-есть самое отрадное для меня.

Дима поехал в Ессентуки, а мы с Дмитрием туда приехали к нему после. И жили в Кисловодске месяц все. Хорошо.

В Петербурге было всё важно. (1913-1914). Религиозно-Философское Общество — и « дело Бейлиса ». Потом исключение Розанова 33). Карташев как-то вознесся и понял общественность.

Мы были за свое — против многих, многих. Против старых друзей.

Тяжелая история с Дмитрием, на которого напало *Новое Время* за статью о Суворине. Печатало его к нему старые письма, обличало в сношениях. Приходилось отвечать. И теперь еще эта тень не кончена.

В конце Февраля (1914) только вырвались за границу. В Париж. Потом в Ментону.

В Ментоне наши милые Илюша и Амалия. Мариэтта Ал. умерла летом. Борис живет в Ницце.

С Илюшей и всё как будто так же — и всё лучше. *Дмитрий устал от него,* но нельзя уставать.

Попросил он (Илюша) Диму пойти с ним на Пасху в церковь русскую. А мы все пошли с ним.

Потом к нам, Евангелие читали, он плакал.

И очень ему было хорошо. И нам с ним. Мы *для него* в церковь, к заутрени, — и это хорошо всё было.

Борис стал лучше, вырос, смирился. Но мы так мало бывали с ним (сравнительно с Илюшей) и он... *безграмотен* в этих вопросах!

Чувствуется вина перед ним. Ведь ему очень нужно!

Послезавтра едем в Россию (на Сиверскую, в лето войны). Очень этот год был серьезный и важный для нашего. Если не в глубину, то в ширину. А ведь как важно и это.

Дима удивительно хороший, верный, сильный. Хорошо мы вместе.

И все люди — гораздо лучше, чем о них думают, чем они кажутся, чем даже надеяться можно, — лучше.

КОНЕЦ
все умерли.
я — духовно пока

Сочельник 1943 г.
Париж

Зинаида Гиппиус

ПРИМЕЧАНИЯ

18) Борис Викторович Савинков (1879-1925) стоял во главе «Боевой организации» эсеров, участвовал в убийстве Плеве и Великого Князя Сергея Александровича (1905). Военный министр в кабинете Керенского; вернулся в Советский Союз в 1924 г., где был арестован, судим и приговорен к смерти. Его таинственная смерть в 1925 году была официально объявлена самоубийством. Мережковские познакомились с ним в 1905 г., когда у Гиппиус появился особый интерес к теме «насилия» после поражения первой революции. Савинков написал несколько романов, среди них **Конь бледный** (1909), к которому приложила свою поэтическую руку Гиппиус, придумав и название книги. В 1931 г. в Париже вышел сборник стихов Савинкова (псевдоним В. Ропшин), **Книга стихов**, под редакцией и со вступлением З. Н. Гиппиус.

19) Евно Фишелевич Азеф (1869-1913), один из организаторов партии с. р., возглавлявший ее «Боевую организацию» с 1903 по 1908 г. Организатор нескольких террористических актов, в том числе убийства Плеве в 1905 г. и покушения на Императора Николая II. Играл роль полицейского агента в революционном движении. Разоблаченный В. Л. Бурцевым в 1908 г., скрылся в Германию и жил во Франкфурте, потом в Берлине, под вымышленной фамилией.

20) Амалия Бунакова-Фондаминская, жена И. И. Фондаминского, была одним из ближайших друзей З. Н. Гиппиус. Познакомились они на Итальянской Ривьере в 1906 г. и часто встречались до самой смерти Амалии в 1936 г. См. посвященную ей статью З. Н. Гиппиус «Единственная» в сборнике **Памяти Амалии Фондаминской** (Париж, 1937).

21) Мариэтта Сергеевна Шагинян (р. 1888) — писательница, теперь советская, очень дружившая с З. Н. Гиппиус в начале века.

22) А. А. Мейер, профессор Народного университета в СПб. в начале века. Мережковские познакомились с ним после своего возвращения из Парижа в Россию в 1908 г. Мейер произвел на них большое впечатление своей эрудицией и глубоким интересом к религиозным вопросам.

23) Ольга Алексеевна Флоренская, сестра о. Павла Флоренского. Была близка к Мережковским в СПб. и в Париже; после неожиданной, трагической смерти ее молодого мужа Сергея Троицкого продолжительное время жила у них в СПб. и на их летней даче в имении Подгорное. Мережковские приняли горячее участие в судьбе молодой вдовы.

24) Савинков готовил в это время покушение на жизнь Государя.

25) Владимир Ратьков-Рожнов, муж сестры Д. В. Философова, Зинаиды Владимировны.

26) Сазонов — убийца Плеве (1905). Позже покончил жизнь самоубийством на каторге.

27) Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934), «бабушка русской революции», происходившая из дворянской польской семьи, член партии с. р.; провела много лет в заключении и в ссылке за подпольную революционную работу, после революции 1917 г. эмигрировала в Прагу. См. ее **Воспоминания и письма** под редакцией A. S. Blackwell (Boston, 1918) и Hidden Springs of the Russian Revolution под редакцией L. Hutchinson (1931).

28) Ксения Половцова, большая приятельница А. А. Мейера, интересовавшаяся религиозными вопросами и религиозной деятельностью Гиппиус.

29) М. В. Пирожкову принадлежало «Книгоиздательство М. В. Пирожкова» в СПб., которое напечатало целый ряд книг Гиппиус и Мережковского.

30) Баронесса В. И. Икскуль, влиятельная петербургская аристократка покровительствовавшая Мережковским и особенно любившая Гиппиус и ее стихи.

31) В. Ропшин — литературный псевдоним Б. В. Савинкова.

32) Steiner, Rudolph (1861-1925), основатель антропософии, имевший приверженцев среди русской интеллигенции в лице Андрея Белого, Вячеслава Иванова, А. Р. Минцловой и других.

33) «Дело Бейлиса» (1913-1914), взволновавшее Россию, было связано с обвинением киевского еврея Бейлиса в убийстве мальчика Ющинского для исполнения еврейских религиозных обрядов. За свои статьи о евреях, появившиеся в газетах **Новое время**, **Русское слово** и **Земщина,** Розанов был исключен из Религиозно-философского общества в 1914 г.

Николай АРСЕНЬЕВ

Выработка мировоззрения. Годы в Университете

(1906-1910)

(Глава из книги: « Дары и Встречи Жизненного Пути »)

1.

Вдохновляющим и кристаллизирующим средоточием и источником моего миросозерцания был *Логос Божий,* или, вернее, безмерное откровение любви Божией в « Сыне Любви Его » (Колос. I, 13). Это я принес из родительского дома, этого мне не дал никакой университет, никакие учителя и философы.

Мое пребывание в университете, изучение мною ряда гуманистических дисциплин, различных видов творчества человеческого духа усилило у меня веру в творческий Логос Божий, который проникает жизнь творения и есть цель — часто неосознанного — основоположного устремления человеческого духа. Но двигающую любовь, двигающую веру принес я из дома. Наставником в этом была прежде всего моя мать, при участии всей нашей семьи в жизни Церкви (особенно, напр., службы Страстной седмицы), а также и моя няня с ее необыкновенно сильной и чистой верой, насыщенной любовью, излучавшейся из нее, и вся атмосфера окружавшей нас семьи (так, напр., милая « Садовая » — дом Дедушки и тетей, незамужних сестер моего отца, в Москве, где я жил зимой с 13-летнего возраста, когда я поступил в средне-учебное заведение). Это было, конечно, в первую очередь не теоретическое миросозерцание, а сердечное устремление к живому Лицу — Иисусу Христу, Сыну Божию. У моей матери это была, прежде всего, живая и глубокая вера, более того — живая, смиренная и тихая *захваченность,* покоренность Им, охватившая всё ее существо и освящающая ее жизнь — жизнь горения духа и повседневного смиренного и спокойного *служения* любви. Это ее горение веры, эта ее захваченность Его любовью и себя забывающее служение любви по отношению ко всем, окружающим ее, были нераздельно связаны между собою. Ее жизнь была поэтому очагом огромного — и смиренного — действенного сияния духовного, которое не могло, хоть в некоторой мере, не сообщаться окружающим людям или, по крайней мере, духовно касаться их. И это горение сердца — ежедневное, прак-

тически беспрестанно осуществляемое, отдающее себя, — было вместе с тем сосредоточенностью на живом образе Владыки и Господа и Спасителя нашего, живущего в братьях. Это было и миросозерцанием, философией сердца, освещающими смысл жизни в мире. Смысл жизни в мире для этого миросозерцания, которым жила моя мать, была Любовь Божия, открывшаяся нам в Сыне. Но не только « нам » — откровение это было предназначено *всему миру*. Отсюда живой интерес моей матери к высотам религиозного искания и религиозной жизни и вне христианства : ибо все эти искания и попытки были устремлены к единому Смыслу и Центру жизни человеческой — Воплощенному Сыну Божию. Поэтому моя мать с таким живым интересом расспрашивала во время конгресса ориенталистов в Стокгольме (где мой отец был тогда — в конце 80-х годов — Первым Секретарем Императорской Российской Миссии) знаменитого санскритолога и историка религий, приехавшего из Оксфорда, Макса Мюллера, о буддизме и вообще об индийской религиозности. В исканиях некоторых из этих мудрецов она ощущала сердцем некоторые отдельные намеки, некоторую смутную устремленность к Тому, Кто был и есть Центр истории. Когда я, уже взрослым юношей, читал моей матери вслух — когда она сидела одна и работала (напр., чистила ягоды для варенья или креветки, или набивала гильзы табаком для моего отца), я читал ей по моей инициативе то, что ей было приятно слушать и что она любила : или 118 псалом (как любила она его толкование епископом Феофаном Затворником!) или отдельные места из книги пророка Исайи или Первое Послание Иоанна или Послание к Филиппийцам и отрывки из Послания к Римлянам, из 1-го и 2-го Послания к Коринфянам апостола Павла, или же некоторые места из Добротолюбия (из Исихия Иерусалимского, Макария Египетского, Исаака Сирина), а также Изречения Отцов из « Отечника », или напр. « Фиоретти » Франциска Ассизского, или автобиографию молодого Сузо, великого германского мистика XIV-го века. Центром ее устремлений был Сын Божий, осветивший Своим пришествием нашу жизнь и давший смысл жизни миру.

У моей матери с этим основным — ровным, тихим и беспретенциозным, ибо глубоко укорененным в смирении — горением духа соединялось чувство благожелательности ко всему живому и ценному в жизни, особенно же огромная, захватывающая, активная жалость ко всем нуждающимся в помощи, бедным, больным, скорбящим, нищим. Она жила не абстрактным миросозерцанием, а тем, что сказано в 25-ой главе Евангелия от Матфея : « Потому что вы сделали это для од-

ного из братьев Моих меньших, то сделали Мне ». Это было, конечно, больше, гораздо больше, чем теоретическое воззрение. Но это соединялось у нее с усиленным молитвенным подвигом. Она жила и укреплялась частой и интенсивной молитвой (когда оставалась одна), особенно молитвой ходатайства за близких и за чужих — скорбящих, за всех, о страданиях и нуждах которых она знала. Христианство было для нее не теоретической доктриной, а жизнью — жизнью отдания себя и молитвенным возношением к престолу Божию себя и близких своих. И с этим — повторяю — соединялась благожелательная и веселая открытость для жизни, чувство доброго и согревающего юмора и сильно развитый умственный интерес, особенно, напр., к исторической литературе. Так, моя мать особенно любила замечательного французского историка Амедэ Тьерри (брата известного Augustin Thierry), который писал главным образом о последних временах Западной Римской Империи, о нашествии варваров и великом переселении народов и об истории Церкви IV-го и V-го веков (« Derniers jours de l'Empire d'Occident », « Alaric », « Attila », « St. Jerôme », « St. Chrysostome et l'Impératrice Eudoxie », « Les grandes Hérésies du V-e siècle : Nestorius et Eutychès »).

Мой отец был большой знаток в области истории и археологии (особенно Византийской, Русской, Балкано-Славянской и Ближневосточной, но также и средневеково-германской) и моя мать сочувствовала его интересам. Она также, как жена дипломата, горячо интересовалась вопросами русской внешней политики, разделяя и здесь умственные интересы моего отца. Наконец, что представляется чрезычайно существенным ибо играло очень большую роль во всем отношении моей матери к миру и жизни, это — ее очень острое *чувство красоты,* направленное главным образом в сторону поэзии. Моя мать выросла на великих поэтах — английских, французских, русских, и любила их. Она очень любила Гётевского « Фауста » и « Buch der Lieder » Гейне (по-немецки). Я читал ей вслух, кроме любимых ее мест из Священного Писания и Отцов, и отрывки из « Фауста » и Песен Гейне, и излюбленные ее стихотворения А. К. Толстого и Хомякова. Особенно любила она :

« О Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал... »

или :

« Широка, необозрима,
Чудной радости полна

Из ворот Иерусалима
Шла народная волна... »

или :

« В час полночный близ потока
Ты взгляни на небеса... »

или « Труженик » Хомякова, или эти слова А. К. Толстого :

« Но не грусти : земное минет горе;
Пожди еще : неволя недолга... »

Эта любовь к красоте, особенно к красоте в поэзии великих поэтов, очень для нее характерна. Помню, когда мы были детьми (мне было 12-13 лет), она в течение многих зимних вечеров прочитала нам вслух главные трагедии Корнеля и Расина и ряд комедий Мольера (мама чудно читала по-французски). А мы лежали на спине на ковре гостиной, подсунув гладко полированные доски под плечи (это рекомендовалось делать для укрепления спины). Это было очень уютно. Длилось это две зимы. Кроме того, она прочитала нам « Черную стрелу » Стивенсона и исторический роман из войны Алой и Белой Розы (в русском переводе). А английскому языку я учился у нее тогда же, читал с ней вместе поэтические произведения Байрона — в первую очередь, его « Чайльд Гарольда ». Первые английские стихи, которые я выучил, были некоторые, выбранные моей матерью, отрывки из « Чайльд Гарольда », о Колизее, о ночи перед битвой при Ватерлоо.

Вот эта *раскрытость* для мира и всей подлинной красоты его и для красоты поэзии, раскрытость для знания, особенно в области исторической, и *устремленность* к Центральному Источнику вдохновения для всей жизни, к Центральному Смыслу всей истории человечества — Воплощенному Слову : вот это было той духовной закваской, которую моя мать распространяла среди окружающих и среди своих детей, сияя вместе с тем светом смиренной, мужественной, духовно напряженной и любящей личности. С этим соединялась великая подлинная простота, трезвенность и мудрость. Ее миросозерцание вытекало из ее духовной жизни.

Это было закваской и предпосылкой и для моего миросозерцания и духовного развития и даже, в известной мере (в большой мере!) и для оправдания моих умственных интересов и моих университетских занятий. Упомяну еще об огромном влиянии на нас детей страстного, горячего интереса моего отца к истории и истории культуры, а также всей атмосферы до-

ма моего деда на Садовой. Мой дед был замечательный христианский богослов и религиозный мыслитель, глубоко верующий сын Православной Церкви и большой поклонник философии Франца Баадера и Якова Бёме. Мои тети, незамужние сестры моего отца, жившие при дедушке, были носительницами высокой и утонченной культуры и, вместе с тем, высокого духовного пламенения, истинными христианками, трогательной деятельной доброты. Атмосфера дома на Садовой, глубоко православная, была вместе с тем полна знания и понимания сокровищ Запада и истинно христианской жизни на Западе.

2.

Было еще влияние одного современного русского мыслителя, которого я никогда не видел в жизни (хотя я потом был дружен с его семьей), также послужившее своего рода закваской для моего дальнейшего умственного развития и гармонически присоединившееся к влиянию дома. Говорю о той большой силе духовного воздействия, которая исходила от писаний и педагогической деятельности профессора князя Сергея Николаевича Трубецкого (1862-1905). Оно коснулось и меня, когда я был еще в 7-ом гимназическом классе, и я с волнением стал читать — и перечитывать — его « Метафизику древней Греции » (1890), а потом и главное его произведение — « Учение о Логосе » (1900 г.).

В книге « Метафизика древней Греции » многое мне было трудно и не вполне понятно — главным образом в Введении (Шеллингианское понятие « мифологического процесса » и соответственная терминология), но книга захватила меня красотой и динамизмом мысли. Процесс, направляемый неким исканием Божественного Логоса — вот что — в скрытом виде, в попытках, намеках и даже искажениях — вдохновляло, по глубокому убеждению Трубецкого, мысль античной древности. А исполнение ее было дано в явлении Логоса во плоти.

Роль князя С. Н. Трубецкого в истории русской духовной жизни очень знаменательна и, думаю, более значительна, чем представляют себе многие историки русской мысли и русской культурной и духовной, динамической традиции. С. Н. Трубецкой обладал большой силой духовной дисциплины, он *творчески* воздействовал на многие души среди молодежи.

Князь Сергей Николаевич Трубецкой имел на меня огромное влияние своими писаниями и всем своим духовным обликом, лучами своего « воздействия » (если можно так выразиться), дошедшими и до меня. Потому что он прежде всего был живой носитель устремления к живой и высшей Истине,

а таким образом и живым свидетелем о Высшей Истине, и потому великим педагогом, именно руководителем, будителем молодежи, умевшим души молодых зажечь этим исканием. Отсюда его огромное влияние на молодежь. Я подробнее останавливаюсь на его личности, его миросозерцании — научном и жизненно-общественном — и его воздействии на молодежь в отдельном очерке, помещаемом во второй части этой книги. Здесь остановлюсь лишь на том, что объединяло различные виды его деятельности, что было основным источником ее вдохновения. С. Н. Трубецкой был большой, добросовестный, талантливый ученый. Но вместе с тем он был и мыслитель. И у него был внутренний источник вдохновения — вера в Божественный Логос, т. е. в Истину и Правду Божественную, как Основу, Источник и Цель мира, которая, более смутно или более ясно, провиделась многими мудрецами и искателями Истины (напр., и великими греческими философами), но которая *вошла в мир,* сделалась центром истории мира в « полноту времен ». С. Н. Трубецкой, как истинный ученый и педагог, тщательно охранявший свободу миросозерцания своих слушателей, не навязывал им в своих лекциях своих религиозных и философских воззрений : он подводил их вплотную к основным проблемам миросозерцания на живо им представленных и пережитых им примерах философских исканий и философского опыта великих мыслителей Греции. Так, его лекции о Платоне были ярким воспроизведением сложного и напряженного хода Платоновской мысли, представленной « диалогически » через многообразие действующих лиц и приводящей к торжествующему утверждению великого и решающего значения Истины — Высшей Правды, Красоты и Высшего Блага — как высшей основы бытия и цели философских устремлений. И изображением — исторически добросовестным и живым — этого философского устремления прошлых веков Трубецкой умел зажечь в своих слушателях жажду искания Истины, жажду искания той Высшей Реальности, о которой говорил Платон. О таком впечатлении от этих лекций Трубецкого говорил мне тогда, напр., мой, значительно старший меня по возрасту, коллега по университетским занятиям (бывший потом приват-доцентом по истории русской лирики) Сергей Сергеевич Розанов, один из преданных и благодарных учеников Трубецкого.

О таком, неимоверно сильном воздействии на молодежь лекций Трубецкого говорил, напр., и Ключевский, как подробно сообщает об этом княжна О. Н. Трубецкая в своих воспоминаниях о брате.

И общественная деятельность С. Н. Трубецкого — его

стремление предупредить революцию (он был величайшим противником революции и уже в 1905 году провидел весь ее уже грозно надвигающийся ужас), его стремление примирить, объединить все живые творческие силы страны — были вдохновлены не только политическими предпосылками, а — прежде всего — желанием служить Правде Божией, Логосу — Слову Божию, как нравственному стержню и цели жизни мира. Это давало вместе с тем такую широту и вдохновенность и его религиозно-философским трудам, и « Метафизике древней Греции », и « Учению о Логосе ». Его личность — благородная, сильная и чистая, его стремление внести струю *примирения* в политическую борьбу, зажечь людей *общим* порывом служения родине и Правде Божией, соединить высокое уважение и бережное отношение к духовным ценностям, к основам *духовной традиции* народа с признанием правды личного и общественного свободного *духовного роста* и мирного, органического обновления жизненных форм — всё это, запечатленное высоким горением духа, не могло не произвести впечатления на многих из молодежи.

Он был по существу *примирителем* старого (но не стареющего) и нового (но не разрушительно буйного). И здесь, может быть, проявилось бы всё *умиряющее* и благодетельно-созидательное значение его личности и его взглядов, если бы он не умер внезапно от разрыва сердца, вызванного в значительной степени революционными беспорядками, ворвавшимися в дорогой ему Московский Университет (беспорядки эти возбуждались элементами, не желавшими примирения и отрицавшими духовные основы жизни).

Всё здесь на земле — не только умственная работа и напряжение мысли и воспитание молодежи, но и политическая деятельность — должны быть служением Высшему Смыслу нашей человеческой жизни и жизни мира : Логосу Божию. Такова была горячая вера С. Н. Трубецкого, проявленная им в его жизни.

3.

Взаимоотношение духа и материи, ответ материалистам, борьба за права духа — вот те проблемы, которые охватывали и мучили многих из молодежи; они не могли не коснуться и меня. Если есть высшая духовная действительность, то как она относится к действительности, окружающей нас? Что реально, и что только производно? В моих исканиях получить ответ моим руководителем был в значительной степени очень замечательный русский философ, Лев Михайлович Лопатин

(1855-1920), друг Владимира Соловьева и братьев Трубецких. А через его посредство я познакомился, напр., с Лейбницем и с Фомой Кампанеллой (Tomaso Campanella, 1568-1639), автором трактата « Cittá del Sole », который учил об укорененности всего существующего в Божественной Реальности. Лопатин был сам, так сказать, « нео-лейбницианцем »; он считал основой и сущностью мира духовное начало. Мир для него слагается из жизни самостоятельных духовных центров, которая сама укоренена в Божественной Реальности. Материя существует, но лишь во вторичном плане, она имеет лишь *производный* характер, раз основа всего существующего духовна. К этому ведет нас и изучение психологии : мы приходим к признанию *« инаковости », отличности* наших душевных явлений от явлений внешнего мира. Они носят характер духовный, не подлежат ни материальному, ни пространственному измерению — ни мере, ни весу — они « духовны », коренным образом отличны от явлений материального характера. Если единственная точка действительности, в которой мы прикасаемся к ее внутреннему лицу, к ее внутреннему непосредственному бытию, — именно в наших внутренних переживаниях (ибо мы их переживаем непосредственно) мы прикасаемся к нашему бытию с ярко выраженными чертами духовного характера, то не следует ли из этого сделать вывод, что *вся* « внутренняя подкладка », внутренняя сторона, или, вернее, *самая сущность бытия духовна?* Эти мысли Лопатин развивал, напр., в своей лекции о методе *интроспекции* в философии, на собрании Университетского Психологического Общества (основанного в 80-ых годах Гротом, им и кн. С. Н. Трубецким), в круглой зале Университетского Правления, когда я был еще студентом 3-го курса. Но особенно незабываемы были вдохновенные лекции его курса « Введение в психологию ». Лопатин читал по давно им выработанному литографическому тексту своих лекций, но читал, конечно, очень хорошо, отчетливо, выпукло, подчеркивая главную мысль (и самый стиль его был прекрасный — чеканный, острый, точный, яркий и смелый). Читал он с большим подъемом — можно сказать, вдохновением. Не мешало впечатлению даже то, что на некоторых, особенно значительных местах он несколько взвизгивал, подымая голос (голос у него был высокий и тонкий). Убедительно ясно, с сильной аргументацией и — вдохновенно он говорил о правах духа, о реальности, исконной решающей реальности духа. Этот превосходный курс (может быть, лучшее из его вещей : он был мастер стиля — стиля, который есть верный и яркий носитель мысли) — этот курс, к сожалению, никогда не был как следует напечатан, а лишь в сотнях экземпляров от-

печатан для студентов на ремингтоне (но под контролем и с поправками автора). Лопатин всё время стремился к большему уточнению и к большей силе и выразительности своего изложения и вносил поэтому часто мелкие стилистические поправки. В мысленном общении с Лопатиным на этих лекциях молодой человек входил в общение со страстным и добросовестным и глубоко убедительным для мысли и захватывающим по силе нравственного подъема *свидетельством* о подлинном существовании духовного мира. Ибо эта вдохновенная мысль лилась не для эстетического удовольствия лектора и слушателей, а была свидетельством о реальности того духовного бытия, которое вдохновляло и искания Лопатина, и его захватывающее философское исповедание.

Со всех сторон захватывали меня потоки живых интересов, научных и иных, связанных с историей человеческой мысли, культуры, литературы, общественных устремлений, истории народов, истории искусства, которые мне предлагались в многочисленных лекциях во время моего пребывания на историко-филологическом факультете Московского университета в 1906-1910 годах. У меня было впечатление, что я должен поворачивать мой ум, мой мозг в разные стороны, подставляя то один, то другой его « бок » (или « грань »), как подставляют камень для полировки. Это была жажда и радость и расширения знаний, и обтачивания ума, приобретения некоторых навыков и новых методов, развития способности вдумываться, критически вникать, сравнивать и мыслить. Пусть всё это юно, незрело, несовершенно (и суждено остаться таковым), но в этом есть и порыв, и радость, и динамизм.

Еще есть один опыт, к которому я приобщился в эти годы : опыт *соборности* в искании Истины, опыт « соборования » в мысли, если воспользоваться славянофильскими терминами. На семинарах (практические упражнения : чтение докладов, представленных отдельными участниками, и совместное обсуждение их) были интересные прения, руководимые — с большой объективностью и благожелательством — соответствующими профессорами или доцентами. Эти прения заострялись, приобретали некоторую широту и « размах », когда с частных вопросов переходили к более общим проблемам — и историческим, и философским. Характерные черты культуры Возрождения? Нужно ли и можно ли понимать эпоху Возрождения « по Бурхардту » : как освобождение человеческой личности от гнета средневековья и средневекового миросозерцания? Был ли сущностью Средних Веков именно этот гнет религиозного миросозерцания, а свобода индивидуального развития — черта, принесенная эпохой Возрождения? А с другой стороны,

не устарели ли эти огульные утверждения, пущенные в ход с легкой руки Бурхардта, замечательного историка, но не свободного от гегелевского растягивания исторической действительности на прокустовом ложе предвзятых однобоких точек зрения? И здесь невольно подымались и принципиальные вопросы : является ли религиозное мировоззрение всегда по необходимости помехой для свободного и творческого развития личности, не расширяет ли оно круг зрения индивидуального человека, не приобщает ли оно его к более широким горизонтам, а, может быть, и к более глубоким, основным сферам реальности, имеющим решающее значение и для нашей культурной работы? Но эти вопросы так не ставились на семинаре, а лишь подчеркивалось, что есть очень сильная религиозная струя и в культуре Возрождения (хотя бы в его платонизме или в религиозном вдохновении многих его художников, начиная с Микель Анжело). Всё больше и больше изучение культуры тех времен выявляло и выявляет тесную органическую связь между Средними Веками и Возрождением (явлением, конечно, необычайно сложным) при всем вместе с тем их различии. Прения были многогранны и интересны (среди моих товарищей по курсу был ряд талантливых и научно заинтересованных молодых людей).

Помню также страстные дебаты на семинаре профессора Сакулина по раннему русскому романтизму. Мне было 18 лет, это был первый год моих университетских занятий и мне хотелось обратить внимание на то, что можно назвать « *струей* томления » по Высшей Реальности в истории человеческой мысли и чувства, также и во всемирной литературе. Это вместе с тем явилось в конце XVIII и в начале XIX века естественной реакцией против сухого, часто бездушного рационализма XVIII века. И тут начались прения, уже более основного, принципиального характера. Сходных примеров того, как ряд молодых моих современников по университету участвовал в этой идейной борьбе за права духа, было не мало. То же происходило и на заседаниях (основанного главным образом студентами философии и истории) « Общества памяти князя С. Н. Трубецкого », насчитывавшего до 300 членов (в том числе был и ряд профессоров). На заседаниях этого общества читался ряд докладов по философии и по истории религий и прения носили здесь часто явно выраженный принципиальный характер — за и против религиозного миросозерцания вообще, за и против христианства. Как это волновало и захватывало! Идейная борьба за свои религиозные убеждения! Как сильно порой ощущалась ответственность быть свидетелем Истины! Все эти дебаты происходили, конечно, в плане научном — научного изу-

чения исторических данных и в атмосфере уважения к мнению противника, но вдохновлялись они для ряда участников *) внутренним признанием Высшей Божественной Реальности, вошедшей в мир и в историю человечества.

4.

Одна проблема была мне особенно близкой — менее центральной и близкой, чем основное благовестие о Воплощении Слова, но вытекающей из него. Это была проблема религиозного значения Красоты, ее религиозной роли в истории человечества. Тема, тесно связанная с благовестием о Воплощении Слова и даже в значительной степени вытекающая из него. Я увлекался тогда красотой поэтических творений, великими поэтами различных эпох и народов.

Поэтому из семи (потом их было восемь) под-отделов историко-филологического факультета я выбрал (но не исключительно) группу западно-европейской литературы. Уже с детства и отроческих лет я особенно любил немецкую лирику, Гётевского « Фауста », баллады Шиллера, стихи и новелы Айхендорфа, из англичан Байрона; увлекся потом Шелли, увлекался Шекспиром (особенно « Юлием Цезарем », « Ричардом II », « Сном в летнюю ночь », « Королем Лиром », « Венецианским купцом » и « Бурей »). Я знал наизусть знаменитую речь Антония над трупом Цезаря. В 17 лет я начал в подлиннике читать Данте и прочитал, помню, 17 песен из « Чистилища » **), пользуясь двуязычным изданием (texte en regard : на правой стороне итальянский текст, на левой — французский перевод F. Ozanam'a ритмической прозой). Я потом стал усиленно читать по-итальянски и увлекался итальянской литературой (моей первой книгой по-итальянски, прочитанной целиком, была « Le mie prigioni » — « Мои тюрьмы » — Сильвио Пеллико). Двумя годами позже я стал усиленно изучать испанский язык и литературу, прочитал « Дон-Кихота » по-испански и целый ряд испанских драм (особенно Кальдерона : моими любимыми были его драмы « de capa y spada » — « плаща и шпаги », драмы рыцарских светских приключений, полные неистощимой веселости и остроумия, особенно в лице смехотворного Грациозо — лакея, хитреца, жулика и труса, но предан-

*) Так напр., для С. Н. Булгакова, князя Е. Н. Трубецкого, С. А. Котляревского, которые часто присутствовали на этих собраниях.

**) Пользуясь тем, что нельзя было выходить из дома ввиду московского вооруженного восстания в декабре 1905 года и что учебные заведения Москвы были на 2 недели закрыты.

ного своему хозяину, которого он комически пародирует; таковы, напр., очаровательные комедии « La Dama duende » — « Дама-домовой », « Casa con dos puertas es malo de guardas » — « Дом с двумя дверями трудно охранять », « Mananas de avril y mayo » — « Утренние прогулки в апреле и мае », « El Escondido, la Embozeda » — « Спрятанный и переодетая »). Но более всего увлекли меня попавшиеся мне в старинной испанской хрестоматии (это было летом в Гамбурге у родителей *), куда я приехал на летние вакации после первого университетского года и где я брал читать книги из превосходной старинной Городской библиотеки) стихи — изумительные по словесному выражению и по силе образов и вдохновляющему смыслу — великого испанского мистика Juan de la Cruz (Иоанна Св. Креста — 1542-1591), одного из величайших поэтов Испании и, вместе с Данте, одного из величайших поэтов Южной Европы, а, может быть, и религиозных поэтов мира. Мистическое содержание его поэзии меня поразило своей глубиной и силой и соответствовало тому, что можно было найти в замечательной религиозно-мистической библиотеке моего деда на Садовой в Москве. Там был и полный перевод всех творений Хуана на французский язык. Теперь я читал его стихи в подлиннике (его замечательные религиозно-мистические трактаты были вдохновенным комментарием к его собственным, может быть, еще более вдохновенным стихам).

Вот с этими литературными интересами я поступил 18-ти лет, в сентябре 1906 г., в Московский Университет. Понятно, что я остановился при выборе специализации на группе западно-европейской литературы. А здесь, в университете, я встретил большого ее любителя, знатока и Шекспира и Байрона, очаровательного и благожелательного к молодежи, мудрого и доброго педагога (и благороднейшего человека) в лице профессора Матвея Никаноровича Розанова, о котором вспоминаю с великим уважением и благодарностью. Но еще больше я обязан в области изучения литературы и проникновения в великие ценности поэзии и культуры итальянской и испанской одному из крупнейших специалистов в России в этой области — доценту Евгению Густавовичу Брауну. Розанов больше специализировался на французской литературе, Браун жил душой в красоте итальянской и испанской поэзии. Он был вместе с тем и большой филолог, а — главное — он трепетно и тонко ощущал Красоту и характерные особенности ее восприятия и выражения в различные культурные эпохи. У него бы-

*) Мой отец был тогда Императорским Российским Посланником в Гамбурге.

ло большое понимание и знание Средних Веков и Возрождения.

Браун ввел меня и моих коллег по курсу в изумительную « Новую Жизнь » (« La Vita Nuova ») Данте и в « Novelas Ejemplares » Сервантеса, в поэзию « Dolce stil nuovo » предшественников и старших современников Данте, и, наконец, в мир средневековых легенд : так, целый семинар Брауна в течение целого года был посвящен средневековым представлениям и легендам о Земном Рае (запечатленным потом у Данте в последних песнях « Чистилища »). Браун был неистощимый кладезь добрых советов, сочувствия, помощи и указаний. Он охотно и щедро одолжал книги из исключительно богатой и многосторонней библиотеки, полной ценнейших специальных — иногда редких — изданий. Он в значительной степени ввел меня в давно уже меня привлекавшую атмосферу Средних Веков, с богатством и многоразличием их, часто религиозно укорененного, содержания. Средние Века стали потом надолго (и до сих пор) для меня предметом любви и научного притяжения. Особенно проблема религиозного преображения Красоты и мира — как она часто предносилась Средним Векам (наряду с образами мрачной демонологии).

А с другой стороны, эпоха Возрождения притягивала меня отчасти своей философски-литературной стороной и конечно своим искусством (в ее изучение я был введен семинаром Розанова по Возрождению и замечательными лекциями приватдоцента Романова по истории итальянского искусства). Меня между прочим сильно увлек Платонизм эпохи Возрождения с ярко поставленной им проблемой религиозной реабилитации, религиозного преображения Красоты — проблемой, которая роднит его с Данте и со сходными настроениями Средних Веков. Этой теме я посвятил свою первую более или менее обширную печатную работу : « Платонизм любви и красоты в литературе эпохи Возрождения » *).

Вообще — как я уже говорил — проблема религиозного преображения Красоты стала для меня одной из центральных и оставалась таковой в последующее время **). Уже тогда, следуя ряду христианских мыслителей и мистиков и миросозерцанию церковных песнопений *** и учению Отцов Церкви

---

*) Написана приблизительно через год после окончания мной университета и напечатана в январской и февральской книжках « Журнала министерства народного просвещения » в 1913 году.

**) См. напр. м о ю книгу « Преображение мира и жизни », Нью-Йорк, 1959 г.

***) Начиная уже с так называемых « Од Соломона », сборника древних христианских гимнов (повидимому, начала III-го века).

(мое первое робкое знакомство с которыми относится как раз к этому времени), я стал воспринимать Воплощение, Самоотдание и Воскресение Сына Божия, как основу и закваску реабилитации твари и возведения ее в высшее достоинство и залог ее преображения.

5.

Наряду со страстным изучением литературы, особенно в ее религиозных и философско-религиозных питающих корнях и устремлениях (поэтому наряду с литературой Средних Веков и Возрождения я увлекался Гётевским « Фаустом » и немецкой романтикой), меня всё больше и больше захватывали предметы религиозно-исторического характера : история религий, роль христианского благовестия в религиозной истории и судьбах человечества, и всё больше и больше привлекало меня изучение этой центральной для меня темы : истории раннего христианства, благовестия Нового Завета.

С этим соединялся и возникший во мне (благодаря идеальному преподаванию древне-греческого языка и литературы В. В. Глазковым, которого я был учеником с 5-го по 8-ой гимназический класс Московского Лицея) интерес к древней Греции. И влияние С. Н. Трубецкого направило меня в ту же сторону. Некоторое время древне-греческая религия и религиозная мысль стали моим излюбленным предметом научного изучения.

Красоту античного восприятия мира я позднее ощутил с еще большей силой, особенно как она выступает в « Гомеровских » гимнах (VII века) и в кратких « вотивных » (« посвятительных ») эпиграммах так называемой Палатинской Антологии — сборника кратких стихотворных надписей, эпиграмм, обнимающих период от V-VI века до Р. Х. до ранне-византийского периода включительно (самый сборник составлен в Византии в IX-X веке). Наиболее, может быть, привлекателен и интересен отдел, представляющий собой собрание различных посвящений, « посвятительных » надписей, обращенных к богам или полу-богам, населяющим, по античным воззрениям, окружающую природу : источники, горные пещеры, кручи гор, лесные чащи, бурные потоки, горные пастбища. Это — в первую очередь Дионис, Пан, нимфы, ореады (лесные нимфы), сатиры, божества вод и источников, Артемида. Читая эти « эпиграммы » (посвятительные надписи), из которых многие были, повидимому, только литературными подражаниями, упражнением в известном литературном жанре, чувствуешь невольно огромную красоту, пронизывающую это античное вос-

приятие природы, — близость божественого; правда, божественного чисто природного, натурального характера, безраздельно слитого с явлениями внешнего мира и безраздельно растворяющегося в нем и не возвышающего душу, не переносящего ее в глубины иной подлинной, высшей жизни. Тем более привлекали меня те древне-греческие мыслители, которые искали Глубины Истинной Жизни по ту сторону поверхностных и обманчиво преходящих явлений внешней жизни. Ибо *преходящесть* явлений мира, преходящесть не самих гармонически прекрасных основ, не самого строя мировой жизни, но всего индивидуального, всех явлений мира, включая и человека, — вот другая всё вновь и вновь ярко выступающая черта древне-греческого миросозерцания. Отсюда, наряду с яркими юношески-бодрыми тонами этого миросозерцания, и его глубоко пессимистические элементы. Меня очень привлекало изучение и этого пессимизма древней Греции — у лириков, в греческой драме, в надгробных надписях. И на фоне этого осознания преходящести всего живого и ужаса смерти вырастают в Греции искания непреходящей жизни — мистические культы. Ярким введением в религиозные искания древней Греции была для меня, как и для многих других, замечательная по глубокому проникновению в значение отдельных фактов, по огромной критической эрудиции и по вдохновенности и увлекательности изложения знаменитая книга Эрвина Rohde « Psyche. Der Unsterblichkeitsglaube der alten Hellenen ». Что же касается мистерий, то классическим введением в Элевзинские мистерии была тогда книга Piccard'a « Les Mystères d'Eleusis ». Но особенно увлекало меня изучение бурной, страстной, исполненной ярких контрастов эпохи эллинизма (от Александра Великого до, примерно, Константина) и мистерий этой эпохи. И здесь, среди огромной литературы, полной сведений о животрепещущих археологических находках, центральной, направляющей книгой был глубокий научный труд, дающий суммирующее, синтетическое изложение всех имеющихся данных, знаменитого бельгийского ученого Franz Cumont « Les religions orientales dans l'Empire Romain » (первое издание 1909 года, последнее, появившиееся при жизни автора, вышло в 40-ых годах). И ему принадлежит основоположная книга о мистериях Митры и источниках их изучения (надписи, барельефы, изданные отдельным большим томом) — « Les Mystères de Mithra », 2 тома. В томе иллюстраций и надписей собраны изображения памятников, найденных в самых различных странах : особенно много барельефов с изображением заклания Митрой священного быка было найдено в Рейнской долине, на восток от Рейна (в пограничной провинции Agri Decumates),

далее, по среднему и нижнему Дунаю и на Балканах (вдоль границ Римской Империи, где стояли легионы). Археологические памятники оживали перед нами, раскрывался задний фон напряженного религиозного искания, объясняющего, между прочим, почему культ — первоначально персидского — бога Митры нашел такие отклики среди солдат Римской Империи — солдат и восточного (с границ Персии и Армении), и западного происхождения. Эта увлекательная сила археологии, дающая прошлому возможность приблизиться к нам, жить перед нашими глазами, выступает во всех работах Франца Кюмона. Эта « динамичность » археологии, связанная с открытиями, « возвращением к жизни », т. е. делающим доступными нашему знанию некоторые кусочки, участки прошлого, его семейно-культурной, политико-экономической, религиозной жизни, вдохновляет ученых исследователей, но захватывает живым интересом к прошлому и начинающего студента.

Зародышами этого моего большого интереса к истории и археологии я прежде всего обязан моему отцу. Мой отец молодым 30-летним дипломатом (он был Секретарем Русского Дипломатического Агентства в Филиппополе (Восточная Румелия), затем в Софии, сразу после русско-турецкой войны 1877-78 гг.) ездил верхом по долинам и горным кряжам Балканских гор и тщательно списывал (даже срисовывал) римские и греческие надписи на « вотивных » (посвятительных) камнях и памятниках, связанных с культами римско-эллинистических богов. Я видел у него потом тщательно переписанными эти собранные им надписи.

Также и через древние папирусы и рукописи — особенно папирусы — доходит до нас жизнь римско-эллинистического прошлого этих стран Средиземного бассейна, тесно связанного со страстными религиозными исканиями того времени. Греческий язык этих папирусов дает нам ценные данные для сравнения с языком новозаветных книг. И здесь роль руководителя в эту, в значительной мере новую звуковую область изучения прошлого, главным образом жизни широких кругов населения в эпоху эллинизма, сыграла знаменитая книга профессора Адольфа Дейссманна « Licht vom Osten » (1910 г.).

Со всех сторон вставала перед нами из книг и музеев эта жизнь прошлого, особенно эта напряженная жизнь религиозных исканий первых веков нашей эры и последних трех веков перед Рождеством Христовым. И на фоне всего этого волнующегося, интенсивно и страстно живущего и религиозно ищущего эллинистического мира встает столь отличное от него благовестие христианства. Меня уже с первого и второго курса университета, а потом всё сильнее, увлекало изучение

культурного и исторического окружения христианства с основоположным вопросом : отношения христианской проповеди к религиозным ожиданиям и чаяниям, столь иногда странно противоречивым, спутанным, многосложным — античного и эллинистического мира.

Также захватило меня изучение древней Индии, памятников ее религиозной и художественной литературы. Здесь вступительным первоначальным руководством послужила книга выдающегося ученого (сначала профессора Дерптского, потом Венского университетов, и члена Венской Академии Наук) Леопольда фон Шредера (Schröder) « Indiens Kultur und Literatur ». На нее указал на своих лекциях по санскриту профессор Поржезинский. Уже с первого и второго курса пребывания в Московском Университете я стал читать английские переводы « Священных книг Востока » в обозначенной этим именем (« Sacred Books of the East ») многотомной серии религиозных памятников индусских, персидских, китайских, серии, выходившей много лет подряд, в Оксфорде, под первоначальной редакцией знаменитого индолога и историка религии Макса Мюллера. Я чувствовал огромный подъем духовного искания, духовного горения в ряде текстов индусских Упанишад, об этой Высшей Реальности, для познания которой благородные юноши из высшей касты оставляют семью, дом, состояние и « уходят в бездомную жизнь ». И изумительно то, что порою вдруг высказывается об этой Высшей Реальности : « Знающий не познает Его. Он открывается только незнающему ». « Кого Он избирает, тому Он открывается ».

Проблемы — основоположные — истории религий овладевали моими интересами всё больше и больше и направляли мои занятия. И в центре всего — проблема отношения христианского благовестия к многочисленным исканиям человеческого духа. « Семена Логоса в сердцах людей » — ответ Юстина Философа, апологета и мученика, и Климента Александрийского проливал в моих глазах новый свет на эту проблему и на историю мира *).

---

*) Мои первые печатные работы связаны с этими проблемами; так, первая моя работа, напечатанная под моим именем : « В исканиях Абсолютного Бога » (из религиозной жизни античного мира, главным образом второго и третьего века по Р. Х.) вышла в « Чтениях Общества Любителей Духовного Просвещения » (Москва 1910 г.) отдельной брошюрой и была написана мною, когда я еще был студентом. В 1912 г. в « Этнографическом Обозрении » (и отдельной брошюрой) вышла моя работа « Плач по умирающем боге »; а главные результаты моих тогдашних занятий по истории религий изложены мною в написанных в 1917-1919 гг. книгах « Античный мир и раннее христианство » (отдельные главы вышли в первых книжках журнала « Путь » в Париже) и « Жажда подлинного бытия », Берлин, 1922 г.

6.

Еще несколько слов о моих философских исканиях и борениях, о философской « самозащите », связанной как раз с моей любовью к живой конкретной *действительности* и красоте мира и жизни и с моим нарастающим интересом к проблеме преображения мира и твари, с моей верой в возможность этого преображения. Это выразилось, между прочим, в моем внутреннем отпоре против Канта и моем неприятии Кантовской философии и особенно Кантовской теории познания. Отказаться от некоторой внутренней связи между миром « вещей в себе » и теми ощущениями и восприятиями, которые возникают в нашей душе при нашем столкновении, нашем общении с окружающим миром, казалось мне невозможным, даже чудовищным. Отказ от всей красоты мира, от всей яркости мироздания, как от абсолютно необоснованной в истинной реальности вещей, как от плода все-человеческой неизбежной коллективной само-иллюзии, не имеющей никакого — повторяю — *никакого* корня, никакой основы в истинном бытии, которое абсолютно *чуждо* всем нашим восприятиям и впечатлениям, не могущим дать даже *малейшего намека* на то, что истинно существует, — эта теория казалась мне абсолютно неприемлемой, противожизненной и не имеющей разумного основания. Пусть наша картина мира искажена, неточна, слаба, неясна, дефективна, пусть мы стоим перед великой, превозмогающей Тайной вещей, Тайной Истинного Бытия, но что-то от этого Исконного Бытия должно ведь просачиваться в мир — хотя бы намеком, хотя бы отражением дальним, несовершенным, искаженным и искажающим, но всё же дающим какое-то смутное, зачаточное представление о том, что — по ту сторону, что есть Живой Источник всякой жизни. Вот для этого Живого Источника жизни, как-то отражающегося в твореньях, или, по крайней мере, в жажде творения по Нему, не было собственно места в концепции Канта. Его гносеология и теоретическая философия была как-бы убийством красоты мира, отказом от луча света, теплющегося в творении. Поэтому я энергично боролся с этой Кантовской философией и внутренно в своих размышлениях, и в тех вопросах, которые я недоуменно и робко ставил, напр., в разговоре с профессором Челпановым после его лекции. Дело в том, что в курсе « Введения в философию » проф. Челпанова Кантовская теория познания представлялась не как остроумный и глубокомысленный *подход* к проблеме, один из подходов, весьма проблематичный и полный ярких внутренних противоречий, при всей своей огромной мыслительной остроте и силе, а изображалась, как не-

кая основоположная нормативная концепция, несомненная с философской точки зрения. Я внутренно протестовал против этого; я понимал, читая историю философской мысли в Германии, какое давящее, безотрадное, все-разрушающее впечатление могла произвести эта философия на молодые умы. Она сыграла роль в решении знаменитого драматурга фон Клейста покончить жизнь самоубийством (что нам может представиться даже странным). Недаром Канта называли тогда : « Der alles zermalmende Kant ». Поэтому я всей душой разделял протест романтической философии против Канта, сочувствовал « прорыву » Шеллинга в мир, — в этот наш мир со всей его значительностью (при всех его величайших несовершенствах и падениях), но и с его корнями, уходящими в глубины Высшей Действительности. С христианской точки зрения основанием достоинства и ценности мира, даже падшего, был Логос Божий, через Которого мир сотворен (« Всё через Него начало быть и без Него ничего не начало быть, что начало быть » — Иоан. 1, 2), и Который *вошел в мир* и освятил всю тварь Своим присутствием, став для нее закваской, семенем, начатком высшего ее достоинства. Внутренняя полемика моя с Кантом совпадала у меня с восприятием огромной духовной ценности истинной, незапятнанной Красоты. И эта Красота имеется в мире, пусть несовершенная, в зачаточном виде, но она указывает путь дальше — к Глубинам Жизни.

Уже тогда я полюбил эту строфу из знаменитой мистической поэмы « Cantico Espiritual » Хуана де ла Круз :

« Mil gracias deramando
Pasó por estos sotos con presure,
Y yendolos mirando,
Vestidas los dejó de su hermosura ».

(« Источив потоки благодати,
Он (воплощенный Сын Божий) быстро прошел через эти наши рощи (наш мир)
И, взглянув на них при этом Своем прохождении,
Он одним отражением лица Своего оставил облеченными
Своей красотой... »).

Это приводит меня к одному предмету моего изучения — к творениям великих мистиков разных времен и народов. Это изучение я начал отчасти уже с последних годов моих университетских занятий. О них скажу лишь несколько слов.

7.

Всякий, изучающий или читающий внимательно памятники мистической литературы, знает — и чувствует на каждом шагу, — что Предмет их свидетельства есть Неизъяснимое — все-превосходящее, истинное Божественное Бытие. Язык смолкает перед Ним, мысль (как говорят мистики, напр., Платон) подводит только к порогу и замирает. *Он* должен говорить, а мы — молчать перед Ним. Вот — основная исходная точка такого стояния перед Богом, о котором говорят мистики. Поэтому, чтобы понять их свидетельства, изучающий их тексты должен сам исполниться этим состоянием — благоговейным трепетом перед Истинным и Решающим Бытием — или, по крайней мере, теоретически или психологически понять, что здесь мы, по-видимому (при всех искажениях ложно или вымученно подражательной мистики), стоим перед самым святым в опыте человека.

Особенно усиленно я стал заниматься проблемами мистики с 1916 года (когда я читал курс на историко-филологическом факультете Московского Университета « Мистическая поэзия Средних Веков »), но более по существу, более независимо от литературного их отражения, в 1918-1919 годах, когда я написал книгу « Жажда подлинного Бытия » (Пессимизм и мистика), вышедшую в 1922 году в Берлине (в издательстве Эфрона). Не могу не упомянуть с благодарностью замечательную, основоположную книгу по введению в мистику английской религиозной писательницы, соединяющей большое знание с глубоким религиозным подходом : « Mysticism » by Evelyn Underhill (первое издание 1919 г.; с тех пор она переиздавалась очень много раз).

Есть различные подходы к мистике, что объясняется и весьма различным — иногда резко и радикально различным — характером переживаний, часто объединенных под этим обозначением.

Мистические переживания, мистический опыт представляют, конечно, очень большой интерес с точки зрения сравнительной истории религий или с точки зрения сравнительной психологии. Но значение их еще гораздо большее. Это не только некоторая « пограничная », отдаленная от нашей обычной — даже от нашей обычной религиозной — жизни область психологии, интересная, необычная, несколько может быть « экзотическая », но тем более интересная и яркая. Это не есть только своеобразный психологический « казус », лежащий на периферии нашего восприятия, и потому особенно, может быть, привлекательный для теоретического научного изучения, но не

имеющий никакого отношения к нашей жизни — или только весьма отдаленное. Совсем наоборот! Мистика касается предмета самой основной, первичной, решающей важности для нашей жизни вообще, для судьбы мира. Мистика непосредственно касается проблемы : есть ли основоположная Божественная Действительность, действительность, из которой всё живет, и перед которой всё остальное бесконечно мало и ничтожно, — и отвечает утвердительно, ибо *свидетельствует* о непосредственной встрече с Нею. В этом — основное значение мистики, ее бесконечное, потрясающее, огромное жизненное значение.

Люди прикоснулись к Божественной Действительности и захвачены и покорены Ею, и свидетельствуют о Ней. Ибо Она открылась им во внутреннем их опыте, в непосредственной близости к ним, и они *не могут не свидетельствовать о Ней.* Это не значит — с религиозной точки зрения, — что все эти внутренние встречи мистики спонтанны и подлинны — многое может быть эмоциональным самовнушением или литературным подражанием, — но факт существования неподлинной, искусственно взвинченной, подражательной мнимой мистики не исключает возможности истинных духовных встреч, истинного прикосновения к порогу Божественной Реальности. Ибо если верить, что *есть* Божественная Реальность, то лучи Ее присутствия могут коснуться — хотя бы прикровенно, хотя бы смутно — человеческого сердца.

Мистики говорят о *Реальности Божией,* превосходящей все прочие реальности, как единой подлинно и истинно существующей и *покоряющей,* захватывающе покоряющей нас. И умиряющей, утоляющей жажду нашего сердца.

« Sero te cognovi, sero te amavi, o Pulchritudo tam antiqua et tam nova »— « О как поздно я познал Тебя, как поздно возлюбил Тебя, о Красота столь древняя и столь новая! » — восклицает Августин. Апостол Павел говорит, что он « стремится достигнуть, как я сам уже захвачен, покорен Иисусом Христом » (Филип. 3, 12).

Есть ли такая встреча, происходит ли такая встреча? На это может дать ответ только сама встреча. Мистики утверждают, что они прикасаются к Преизбыточествующей Реальности, которая не есть они, не есть их переживание, перед которой они — ничто или нечто бесконечно малое и которое *покоряет* их. Поэтому тот же апостол Павел называет себя : « Павел, раб Иисуса Христа » (Рим, 1, 1; Филип., 3, 12) и еще сильнее : « Живу уже не я, но живет во мне Христос » (Гал. 2, 19-20).

Ибо начиналась *новая жизнь.* Подлинная мистика не в эмоциях, не в психологических потрясениях только, а *в новой*

жизни. « Он должен расти, а я — умаляться ». Всё больше и больше Его воцарение во мне, всё большее и большее смещение центра моей духовной жизни : Не я, но Ты.

Апостол Павел говорит о радостном, неизреченном, всепревозмогающем избытке новой жизни — о « неисследимом богатстве Христовом », о « богатстве наследия Его », о « богатстве славы Его », и опять о « преизбыточествующей славе » (2 Кор., 3, 10), и он соединяет целый ряд синонимов, нагромождает их, чтобы (как замечает Иоанн Златоуст в своем комментарии к Посланию к Ефесянам) только слабо намекнуть о всепревосходящем, преизбыточествующем богатстве этой новой жизни. Но она дается в Кресте, через участие в Кресте Христовом. Это есть элемент огромной силы : духовная трезвенность, подвиг, преодоление себя, отдание себя — не собственными нашими усилиями, а через благодатное участие в *Его* подвиге. Поэтому Крест Его живителен, поэтому Павел ничем не может похвалиться, кроме Креста Господа нашего Иисуса Христа (Гал. 6, 14). Поэтому новая жизнь и постоянное мое умирание моему эгоистическому самоутверждению, отдание себя тесно, непрерывно связаны друг с другом. Поэтому и страдания и гонения и оставленность наша есть только средство, через которое проявляется *Его* близость к нам, Его преизбыточествующая сила. Поэтому доминирующий тон всего этого мистического опыта есть *трезвенность*, бодрость, мужественность, подвиг и радость великая, все-проникающая радость даже среди испытаний. Действенное жизненное соединение с Ним в смерти и Его новой воскресшей жизни — вот основные черты этого подвига христианской мистики. Поэтому христианская мистика по существу своему, основоположно *Христоцентрична.* Новая жизнь — уже теперь — во Христе Иисусе Господе нашем через участие в Его подвиге, Его, — « возлюбившего нас и предавшего Себя за нас », говоря словами апостола Павла. Христианская мистика есть поэтому *захваченность* — трезвенная, мужественная, всю жизнь охватывающая — *Его любовью.*

« Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так : если Один умер, то все умерли, а умер Он за всех, чтобы живущие не для себя жили, а для Умершего за них и Воскресшего » (II Кор. 5, 14). Это ответ на проблему, которая меня тогда особенно интересовала и волновала в связи со сравнительным изучением мною мистики разных времен и религий : в чем характерная, основоположная черта христианской мистики? Она — повторяю — в ее христоцентричности. Полнота Божия раскрылась нам в явлении, в *безмерном снисхождении,* в смер-

ти и воскресении « Сына Любви Его » (Колосс. 1, 13), в *смиренном снисхождении* Любви Божественной.

Эти мысли, эти выводы, эти ответы занимали меня уже тогда (особенно в последние годы моего пребывания в университете); они еще больше охватили мой интерес, мое внимание и сделались основной темой моих историко-религиозных размышлений.

Человек развивается, конечно, всю жизнь, но какое, часто решающее значение для его развития имеют годы детства и годы первых более осознанных напряженных попыток осмыслить себе (хотя бы теоретически, предварительно) свою жизнь и жизнь мира.

И видит тогда человек на мгновение — теоретически еще — как бы Прорыв, освещающий глубины мировой жизни. И задачей его жизни становится : не потерять связи с этим Прорывом, с этим Проблеском Высшей Действительности.

Николай Арсеньев

ИСПРАВЛЕНИЕ

В статье проф. Н. С. Арсеньева в « Возрождении » № 217, в примечаниях внизу страницы 48-й, следует дважды вместо « Письма » читать « Сочинения, т. II, 1900 г. »; то же дважды в примечаниях внизу стр. 49-й.

Александр ВАРДИ

Ленин, ленинцы, ленинизм и развитие советской науки

I. ЛЕНИН — ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРИНЦИПА ПАРТИЙНОСТИ НАУКИ

О своем отношении к науке В. И. Ленин говорил определенно и откровенно. Он считал ее важным оружием в классовой, партийной борьбе, ценным орудием созидательной работы и поэтому отвергал те части, выводы и толкования науки, которые, по его мнению, не соответствовали этому предназначению.

Классовую борьбу Ленин считал органически неизбежным свойством классового общества и поэтому наука, по его мнению, не могла не быть активной участницей этой борьбы.

« Ожидать беспристрастной науки в обществе наемного рабства, — писал Ленин, — такая же глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала » 1).

« Не даром давно уже сказано, что если бы истины математики задевали интересы людей (интересы классов в их борьбе), то эти истины оспаривались бы горячо » 2).

Не только науку капиталистических обществ считал Ленин пристрастной, точнее классовой, партийной. Вот, что он писал о материализме и, значит, о материалистической, научной (с его точки зрения) оценке событий и явлений, в том числе, в сфере науки :

« Материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке событий, прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы » 3).

О партийной утилитарности задач науки Ленин писал :

« Задача науки по Марксу это — дать истинный лозунг борьбы, то-есть суметь объективно представить эту борьбу как продукт определенной системы производственных отношений,

---

1) В. И. Ленин, Собрание сочинений, 4-е издание, 19-й том, стр. 3.
2) Там, же, том 20, стр. 18.
3) Там же, том 1, стр. 381.

суметь понять необходимость этой борьбы, ее содержание и условия развития » 4).

Признание партийности науки означает, по Ленину, необходимость такого ее истолкования, которое соответствовало бы интересам руководителей компартии. Вот, что он писал об этом :

« Без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания » 5).

Ленин требовал, чтобы коммунистические теоретики сами давали философские истолкования смысла всех научных теорий и экспериментов с партийных позиций. Он призывал не доверять тем философским истолкованиям научных истин, которые делали творцы научных открытий. Он писал :

« Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии » 6).

Современные ленинцы неукоснительно следуют установкам их вождя. Вот, что читаем мы в нынешнем учебнике философии для высших учебных заведений, утвержденном после широкого обсуждения философами СССР :

« В нашу великую эпоху классовых битв, эпоху перехода человечества от капитализма к социализму, общие теоретические вопросы наук о природе — физики, биологии и других — являются ареной идеологической борьбы, так или иначе отражающие борьбу классов » 7).

И далее :

« Партийность пролетарская, коммунистическая идейность обеспечивают наиболее глубокое, наиболее объективное и всестороннее познание действительности... Вот, почему подлинная научность и коммунистическая партийность совпадают » 8).

« Отход от коммунистической партийности ведет к отказу от истины » 9).

Авторы упомянутого учебника — виднейшие советские философы продолжают :

« Но не противоречит ли партийность в науке самой цели,

---

4) Там же, том 1, стр. 309.
5) Там же, том 33, стр. 207.
6) Там же, том 14, стр. 327-328.
7) « Основы марксистской философии ». Академия Наук СССР, Институт философии, Госполитиздат, второе издание, 1963 г., стр. 322.
8) Там же, стр. 325.
9) Там же, стр. 326.

задаче науки — объективности исследования, открытию объективной истины, не зависящей от человека и человечества? Нет, конечно » 10).

К сожалению, неоспоримые факты не соответствуют этому утверждению теоретиков КПСС; но об этом — позже.

В. И. Ленин ввел в обиход коммунистического движения субъективистское отношение к науке, основанное на идеологии. В этом вопросе он был всегда последователен. По многим другим проблемам можно найти в его сочинениях противоречивые установки (этим до сих пор пользуются ленинцы разных мастей), но в вопросе о необходимости партийности науки у Ленина не было двух разных мнений.

Показателем этого можно считать и первый декрет советской власти — ленинский « Декрет о печати ». Формально — это был декрет о запрете буржуазных изданий, но фактически это означало введение партийной цензуры на все печатные, в том числе и научные издания. Этот « Декрет о печати » был принят на второй день после установления ленинской власти : 9 ноября 1917 года.

Даже в верхушке руководства партии Ленина этот декрет вызвал серьезные разногласия. 17-го ноября, то-есть на десятый день советской власти, в порядке протеста против обнародования « Декрета о печати », заявили о своей отставке шесть наркомов; Зиновьев, Каменев, Рыков, Милютин и Ногин заявили о своем выходе из ЦК партии. Даже этот первый и опаснейший пореволюционный раскол руководства « Ленинской гвардии » не принудил Ленина изменить свое отношение к печати и, значит, к свободе мысли, слова и науки.

Россия, бывшая в период между февральской и октябрьской революцией « самой свободной страной в мире » (об этом неоднократно говорил и писал Ленин) стала с момента издания « Первого ленинского декрета » — « Декрета о печати » — страной, управляемой тоталитарным режимом.

II. « ФИЛОСОФСКИЙ ФРОНТ » В РОЛИ НАДСМОТРЩИКА В СФЕРЕ НАУКИ

Ленинский завет о партийности (партийной пристрастности) науки привел к тому, что « царем » советской науки стал советский « философский фронт ». От его воли зависело не только признание или « предание анафеме » разных теорий, доктрин, дисциплин и целых научных направлений, но и судь-

10) Там же, стр. 322.

ба ученых всех отраслей знания. Решающим в научной работе стала так называемая идейность, то-есть неукоснительное подчинение науки очередным идеологическим установкам, согласованным с диалектическим материализмом.

« Философии отводилась роль всеобщего надзирателя над науками, которые, того и гляди, ударятся во что-нибудь недозволенное » — признал впоследствии Г. Волков в « Литературной газете » 11).

По существу, наука стала служанкой текущей политики правящих.

Вот, что записано об этом в нынешней « Программе КП СС » :

« В век бурного развития науки еще большую актуальность приобретает разработка философских проблем современного естествознания на основе диалектического материализма, как единственного научного метода познания » 12).

Один из ведущих деятелей советского « философского фронта » академик М. Омельяноский писал :

« Вся история современного естествознания в его теоретических аспектах и практических применениях доказывает, что его философской основой является диалектический материализм, поднятый Лениным на высшую ступень... Диалектический материализм — единственно верная философия и метод современного естествознания » 13).

Борьба за гегемонию теорий диалектического материализма в науке — это борьба за партийность науки, борьба против так называемой « деидеологизации науки ». Вот, что писала об этом недавно « Комсомольская правда » :

« На Западе пущена в оборот концепция деидеологизации науки, получившая широкое признание в буржуазной литературе и среди ревизионистов... Она сеет иллюзию, будто путь к истине лежит через отказ от всякой классовой позиции. Между тем, всем историческим опытом развития общественной мысли доказано, что для объективного познания нужно встать на позицию передового класса » 14).

Все ли в советском обществе разделяют упомянутые программные установки руководства КПСС о роли диамата —

---

11) Г. Волков, « Наука и "философский нигилизм" », « Литературная газета » за 15 февраля 1967 г.

12) « Правда » 2 ноября 1961 года.

13) « Правда » 7 февраля 1968 года, статья : « Союз философов с естествоиспытателями ».

14) « Комсомольская правда », 20 июня 1968 г. Сообщение ТАСС : « Воспитывать высокоидейных специалистов. Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук ВУЗ'ов », стр. 1.

этой теоретической основы ленинской партийности в науке? Конечно, далеко не все. Об этом свидетельствуют даже появляющиеся время от времени публикации в советской печати. Например, в сообщении о работе симпозиума « Диалектика современного естествознания » читаем :

« Когда-то было всё просто... вопрос о взаимоотношениях философии и естествознания не дискутировался. Во всяком случае он не стоял так остро, как в наше время... Взаимоотношения еще совсем недавно складывались, как отношения весьма твердых правил мачехи и стремительно взрослеющих, но бессильных против « правил » пасынков...

« Как естественнику применять диалектическую логику? Может быть, она является подспорьем только в социальных науках, а в естествознании неприменима?

« К сожалению, четких ответов на эти вопросы выступавшие не дали. Профессор П. В. Копнин четко и определенно заявил, что, к великому сожалению, диалектической логики еще нет...

« Не обсуждался вопрос о первородстве в современной методологии науки — диалектической логики или формальной. Мало того : представители формальной логики гораздо более четко, чем диалектики, формулировали возможности применения ее в естествознании... Иначе мы никогда не объясним себе, как же Альберт Эйнштейн или Нильс Бор с их недиалектическим мировоззрением сделали свои гениальные открытия » 15).

Другой отчет об этом симпозиуме, напечатанный в журнале « Вопросы философии » № 5 за 1967 год, свидетельствует о том, что не только профессор Копнин, но и другие ораторы отказались признать диалектический материализм « всеобщей методологией естествознания ».

Для понимания роли, которую играла и продолжает играть в развитии советской науки марксистско-ленинская философия (главным образом диалектический материализм) с ее категорическим требованием партийности науки необходимо привести важные признания, которые сделал в « Литературной газете » Г. Волков. Рассказывая о выступлении не названного им референта на совещании в не названном научно-исследовательском институте Волков писал :

« Резкими и смелыми штрихами он обрисовал то бедствен-

---

15) « Комсомольская правда » за 3 ноября 1966 года; И. Клямкин, А. Ципко — « Поиски строгости ».

ное, катастрофическое положение, в которое современную науку завели догматы философии » 16).

Заметим, что речь идет о единственно разрешенной в СССР философии марксизма-ленинизма. Г. Волков продолжал :

« Разве не философы выступали в тридцатых и сороковых годах с нападками на теорию относительности Эйнштейна, объявив ее идеалистической и реакционной? Разве не они клеймили в начале пятидесятых годов кибернетику, как лженауку? Из статей и книг философов с бранью по адресу классической генетики и ее продолжателей можно составить библиотеку...

« Философия стала притчей во языцех. « Философ » в среде физиков и математиков звучит как оскорбление. Занятия философией рассматриваются как потеря времени в ущерб "настоящему делу" » 16).

Это признание Г. Волкова опровергает, в частности, утверждение советского академика В. А. Амбарцумяна, высказанное 7 сентября 1968 года на международном философском конгрессе в Вене, что в СССР будто бы никогда не подвергали теорию относительности ограничениям и запретам.

Ясно, таким образом, что гегемония советского « философского фронта » в сфере науки и навязанная им партийность науки вызвали пагубные для советской науки последствия.

Не удивительно, поэтому, что многие крупнейшие советские ученые с тревогой говорят о состоянии науки в СССР, о ее подражательном характере и отставании от авангарда мировой науки. Вот, что писал об этом один из ведущих советских ученых — человек, которого считают « отцом советской водородной бомбы », академик А. Д. Сахаров :

« По глубокому снегу бегут два лыжника. В начале соревнований один из них, в полосатой майке, находился на много километров впереди, но сейчас лыжник в красной майке вплотную приблизился к лидеру. Что можно сказать об их сравнительной силе? Не очень много; ведь бег двух лыжников происходит в разных условиях : « полосатый » прокладывает лыжню, а « красный » — нет...

« И всё-таки, сейчас мы догоняем США лишь по некоторым старым « традиционным » отраслям, в значительной мере потерявшим для США определяющее значение (черная металлургия и др.), а в новых отраслях (например, в производстве средств автоматики и вычислительных машин, в нефтехимии и, в особенности, в научных, научно-технологических и науч-

16) « Литературная газета » за 15 февраля 1967 года, стр. 12.

но-технических исследованиях) мы имеем не только отставание, но и меньшие темпы роста, и это исключает возможность полной победы нашей экономики в ближайшие десятилетия » 17).

Брошюра академика Сахарова издана за рубежами СССР, но и в советской печати иногда появляются подобные утверждения. Вот, например, что писал в органе ЦК ВЛКСМ — « Комсомольской правде » один из крупнейших советских ученых — академик П. Л. Капица :

« Надо не бояться сказать, что за последние несколько лет разрыв в науке между нашей страной и Америкой не сокращается... примерно с таким же количеством научных работников мы производим половину той научной работы, которую производят американцы. Поэтому приходится считать, что производительность труда среди наших ученых ниже производительности труда ученых в США » 18).

В речи на заседании Королевского общества ученых, посвященном памяти Эрнеста Резерфорда, академик Капица жаловался на то, что наука стала пленницей идеологов и политиков. Он говорил :

« В год смерти Резерфорда безвозвратно ушла та счастливая и свободная научная работа, которой мы так наслаждались в годы нашей молодости. Наука потеряла свою свободу... она стала пленницей и часть ее покрыта паранджей ».

В интервью для органа ЦК ВЛКСМ — журнала « Юность » академик П. Л. Капица открыто требовал раскрепощения науки, восстановления научных споров свободных от диктата идеологов и политиков. Он говорил :

« Непременным условием благоприятной для науки атмосферы является столкновение различных мнений, обмен спорными мыслями, дискуссия, диспут... Умению полемизировать молодым людям надо учиться у своих дедов... Когда в какой-либо науке нет противоположных взглядов, нет борьбы, то эта наука идет по пути к кладбищу » 19).

В советских условиях — это смелые высказывания. Академик П. Л. Капица позволял себе подобные заявления в кругу коллег даже при жизни Сталина и поэтому в конце сороко-

---

17) А. Д. Сахаров, действительный член Академии Наук СССР; брошюра : «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе »; издательство « Посев », 1968 г. стр. 36, 37.

18) « Комсомольская правда » за 20 января 1966 г., академик П. Л. Капица : « Слово о прогрессе ».

19) Журнал « Юность » № 1 за 1967 год. Интервью академика П. Л. Капицы.

вых и в начале пятидесятых годов до смерти Сталина он был под домашним арестом.

На то, что « в советской науке перестают рождаться новые, оригинальные идеи », публично жаловался даже законопослушный академик В. Амбарцумян 20).

Такое положение в советской науке можно объяснить только тормозящим влиянием политических условий, основу которых заложил Ленин. До советской эпохи наука в России отличалась плодовитостью оригинального научного творчества. Достаточно напомнить об открытиях М. Ломоносова, Д. Менделеева, К. Циолковского, Э. Ленца, Н. Лобачевского, Л. Эйлера, А. Попова, И. Павлова, А. Столетова, С. Лебедева, Д. Бернули, Б. Якоби, Н. Жуковского и многих других.

Более пятидесяти лет в СССР реализуется ленинский завет о партийности науки и примате диалектического материализма при ее оценке. Историческая практика показала, что это тормозило и тормозит развитие советской науки.

III. НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ

а) **Коллизии в исторической науке.**

Гегемония диамата и ленинской партийности науки привели, в первую очередь, к упадку гуманитарных наук. Извращение, а то и запрет этих наук в соответствии с принципом обязательной партийности, как и разгром научных кадров начали осуществлять еще при Ленине.

Коротко рассмотрим для примера « судьбу » русской и советской исторической науки.

Еще при Ленине были « преданы анафеме » труды по истории : Ключевского, Платонова, Бердяева, Соловьева, Струве, Карамзина, Булгакова, Изгоева, Иванова-Разумника, Готье, Иловайского и других. Части ведущих дореволюционных историков, как и представителям других гуманитарных отраслей знания, удалось выехать из советской России в первые пореволюционные годы. Оставшиеся ученые или были вскоре арестованы (Готье, Иванов-Разумник) или постепенно отстранялись от научной работы и подвергались репрессиям. Так в 1930 году от преподавательской работы были отстранены историки, академики и профессора : Платонов, Тарле, Лихачев, Любавский, Готье и еще по крайней мере девятнадцать крупных

20) « Литературная газета » за 26 февраля 1966 г.

ученых. В 1931 году академиков Е. В. Тарле и С. В. Платонова арестовали по ложному обвинению в участии в монархическом заговоре. После отбытия срока ссылки Тарле реабилитировали, но заставили в его исторических публикациях грешить против правды по сталинским установкам. С. В. Платонов умер в заключении.

Подобная судьба постигла и многих советских историков. Основоположник советской истории, один из многолетних соратников Ленина М. Н. Покровский умер в 1932 году 64-х лет отроду естественной смертью, но последние его годы были омрачены ожесточенными нападками Сталина и сталинцев на него и его последователей.

Сталину было недостаточно, что Покровский неуклонно осуществлял ленинскую партийность в науке и эти его услуги высоко ценил Ленин. Вот, например, как понимал М. Н. Покровский содержание исторической науки :

« История есть самая политическая наука из всех существующих... История ничего иного, кроме политики, опрокинутой в прошлое, не представляет ».

Таково кредо истории по Покровскому. Оно осталось неизменным до сих пор.

Покровский был придворным историком Ленина. Он творил его культ. Уже поэтому Покровский не подходил Сталину, которому были нужны трубадуры его собственного культа.

Один из первых большевиков (с 1903 года) и соратников Ленина, ленинский нарком, позднее профессор истории В. И. Невский исчез в 1936 году в застенках НКВД. Таким же был и конец жизненного пути другого старейшего советского историка-коммуниста, основателя Института Маркса-Энгельса-Ленина — Д. Б. Рязанова. В 1937 году на Лубянке был расстрелян ведущий историк КПСС Кнорин. Он был главой редколлегии сталинского « Краткого курса истории ВКП(б) ». В это же время был расстрелян еще один историк из « ленинской гвардии » — нарком А. С. Бубнов.

Когда же после XX съезда КПСС советский журнал « Вопросы истории » начал вскрывать сталинскую фальсификацию истории, то решением ЦК КПСС от 7 марта 1957 года редколлегия журнала во главе с академиком Панкратовой и Бурджаловым была распущена. Вскоре после этого Панкратова умерла от « разрыва сердца ».

Правда о советской истории и историках до сих пор в СС СР под запретом. Об этом свидетельствует, в частности, судьба современного советского историка профессора Некрича. В 1965 году он опубликовал монографию « 22-го июня 1941 года », в которой было больше, чем прежде, исторической прав-

ды о событиях второй мировой войны. Советская критика дала тогда книге высокую оценку. Однако, в сентябре 1967 года, по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева, книга Некрича была запрещена, а он сам исключен из КПСС и снят с работы.

Все эти личные трагедии историков и конвульсии советской исторической науки были вызваны требованиями ленинской партийности науки и тем, что не только каждый очередной правитель СССР требовал своей партийности и выгодных ему искажений исторической правды, но и сама эта партийность часто менялась при одном и том же правителе в зависимости от нужд его текущей политики. Вожди спорили, а у историков не только трещали чубы, но и отлетали головы.

б) **Генетика.**

О запрете генетики в СССР и преследовании генетиков мировая печать сообщала довольно подробно. В советской печати, несмотря на то, что генетика восстановлена в правах, избегают обсуждения советского прошлого этой нуки. Это не удивительно. Ведь по обвинению в вейсманизме-менделизме-морганизме были практически ликвидированы творческие кадры генетики и смежных дисциплин, а другие биологические науки приведены в состояние упадка.

Были расстреляны выдающиеся ученые, профессора : И. Агол, Л. П. Ферри, Н. П. Авдулов, С. Г. Левит. Отправлены в концлагеря : академики : Л. Штерн, И. И. Шмальгаузен, Н. И. Вавилов (умер в концлагере в 1943 году), профессора : Г. А. Левитский, Сабинин, Карпеченко и многие другие. Еще большее число ученых было отстранено от подлинно-научной работы. Среди них академики : Орбели, Жебрак, Дубинин, профессора : Раппапорт, Слепков, Хаджинов, Соколов, Сукачев, Дикусар, Козубенко и многие другие.

Возглавлял разгром генетики лауреат сталинских премий, герой социалистического труда, кавалер многих орденов СССР академик Т. Д. Лысенко. Его лженауку официально поддерживали руководители советского режима по крайней мере до конца 1964 года. Например, 6 августа 1964 года заместитель министра сельского хозяйства СССР Назаренко на всесоюзном совещании в министерстве сельского хозяйства СССР говорил :

« Некоторые люди клевещут на виднейших советских ученых.. Трофим Денисович Лысенко всегда был в центре всех драк с морганистами... Заслуги академика Лысенко перед народом и партией общеизвестны ».

Даже бывший глава советского режима Н. С. Хрущев вы-

ступил против менделизма-вейсманизма-морганизма, т. е. классической и современной генетики. Он говорил :

« Есть ученые, которые всё еще спорят с товарищем Лысенко. Если бы меня спросили : за какого ты ученого голосуешь, я бы не задумываясь сказал : за Лысенко. И я знаю, что он не подведет потому, что за плохое не возьмется. Я считаю, что мало кто из ученых так понимает землю, как товарищ Лысенко » 21).

Не удивительно, что еще в июньском номере журнала « Юность » за 1965 год Юрий Жебрак должен был требовать отстранения лысенковских « генералов » от командования в сфере биологических наук. Не удивительно, что академику Н. Семенову и профессору А. Малиновскому пришлось настаивать в « Известиях » 22 января 1967 года на восстановлении в правах новых « западных » разделов эмбриологии и биоценологии.

Что же побуждало советских руководителей и теоретиков столь настойчиво поддерживать и защищать врагов генетики и других достижений мировой биологии? Ведь эти руководители многие годы не только поддерживали власть Лысенко и его подручных в весьма широкой сфере биологических наук (в том числе, сельскохозяйственных), но и преследовали, даже уничтожали выдающихся ученых, не соглашавшихся с Лысенко по чисто научным вопросам.

Дело в том, что Лысенко действовал под флагом ленинской партийной науки. Он « очищал » советскую науку от западных влияний, иными словами запрещал использовать достижения мировой науки. Лысенко преследовал так называемых « безродных космополитов, пресмыкающихся перед Западом », точнее — ученых, стремившихся использовать в своей работе достижения мировой науки.

Лысенко провозгласил свою, по сути, ламаркистскую теорию наследственности, которая очень нравилась Сталину, его подручным и эпигонам. По теории Лысенко наследственность определялась только условиями среды. Эта теория обосновывала поползновения советских диктаторов формировать внутренний мир человека по своему желанию. Ведь создание среды в значительной мере зависело от воли правителей СССР. Своей теорией наследственности Лысенко подтверждал закономерность диктаторского характера советского режима, так как только такой режим (согласно теории Лысенко) способен

---

21) « Правда », 1 апреля 1957 г., Н. Хрущев : Речь на совещании работников сельского хозяйства областей нечерноземной зоны.

осуществить научное руководство обществом, изменить природу (в том числе урожайность, животноводство и т. д.) и всесторонне улучшить человеческую породу.

Ясно, что такая теория соответствовала интересасм правителей СССР и поэтому отвечала их « партийному наказу ». Это была партийная наука, послушная гибким беспринципным вывертам диалектической софистики.

Гегемония идеологических установок и, в первую очередь, ленинской партийности науки, дорого обошлась народам СССР.

в) **Парапсихология.**

Еще дольше, чем генетика, под запретом была парапсихология. Даже сейчас ей приходится бороться за официальное признание. Вот, что писал о положении советской парапсихологии виднейший советский парапсихолог профессор В. Мессинг :

« Каждый, буквально каждый человек, порывшись добросовестно в памяти, может припомнить те или иные случаи, свидетельствующие о существовании телепатии. Почему же не изучается это явление? Почему считается, что телепатические явления противоречат материалистическому представлению об устройстве мира, а радиопередача и даже телевидение не противоречат?!.... Не так ли в годы Средневековья ученые, слепо следовавшие доктрине Аристотеля, не поверили в существование электричества, хотя об этом свидетельствовали молнии?... А сейчас ведь не Средневековье, да и явление, которое требует изучения, можно всегда воспроизвести в экспериментальных условиях. Пожалуйста, изучайте! » 22)

Трудности, которые создавали администраторы советской науки для парапсихологии, были вызваны (как и писал В. Мессинг) идеологическими соображениями, ленинским требованием партийности науки. Это становится ясно при чтении статьи одного из противников парапсисхологии профессора Джавадяна. Он писал :

« Споры о возможности передачи мыслей на расстояние относятся не только к области физиологии, но и связаны с основным вопросом философии о сущности сознания и его отношении к материи... Только материя может быть передана на расстояние.. .Это хорошо знают признающие возможность непосредственной передачи мыслей на расстояние и поэтому они

---

22) Журнал « Наука и религия », № 10 за 1965 г., стр. 75. Вольф Мессинг « О самом себе ».

« материализуют » мысль. Однако подобные рассуждения не что иное, как мистика, фантастика, абсурд. Мышление — идеальный продукт материи — мозга » 23.)

В этом же духе неоднократно выступали и другие советские ученые (профессора : Бирюков, Косицкий и др.), послушные требованиям принципа партийности науки. Вот, например, что писал профессор Г. И. Косицкий :

« Наша мысль — продукт мозга и не может существовать в отрыве от него или от материи вообще. Только идеалисты, церковники думают, что мысль может существовать в « чистом » виде, то-есть вне связи с материей. Когда человек передает свою мысль другому, он передает материальные, весомые, зримые, слышимые носители мысли : слова, текст, знаки и т. д. » 24).

Д-р Джавадян и проф. Косицкий представили официальную точку зрения советского « философского фронта ». Эта установка вызвана стремлением отстоять, защитить онтологию диамата. Ведь марксисты-ленинцы утверждают, что вещество доминирует над сознанием. По существу, мысли, сознание в диамате это только идеальное и, значит, не материальное свойство вещества (мозга).

Такое понимание взаимосвязи сознания и материи (вещества) нужно марксистам-ленинцам для того, чтобы убедить людей некоммунистических обществ, что они (их сознание) бессильны противостоять материальному « железному ходу » истории, который, согласно этому учению, неотвратимо, фатально ведет к пролетарской революции и диктатуре пролетариата.

Такова роль ленинского принципа партийности науки при оценке парапсихологии. Таково конкретное воздействие этого принципа на развитие этой науки в СССР.

г) **Теория относительности.**

В советских органах массовой информации можно прочитать и услышать в последнее время утверждения, что в СССР никогда не принимались меры против изучения и использования теории относительности. Мы уже упоминали о таком заявлении академика Амбарцумяна на 14-м международном философском конгрессе в сентябре 1968 года.

---

23) Журнал « Техника молодежи » № 2 за 1961 год.

24) Журнал « Здоровье » № 3 за 1963 г.; проф. Г. И. Косицкий « Об опытах Мессинга ». Эта же статья — в журнале « Наука и религия » № 10 за 1965 г., стр. 72.

О том, что такие утверждения не отвечают правде, свидетельствует хотя бы такое заявление нынешнего президента Академии Наук СССР М. Келдыша. В журнале « Коммунист », органе ЦК КПСС, Келдыш писал :

« ...Философы судили о новых открытиях естествознания не по их сути... Так было, например, с теорией относительности, с квантовой механикой; в нашей печати одно время велась борьба против электронных машин » 25).

Ясно, что « философы » — это как раз те люди, которые были и остаются законодателями, распорядителями в советской науке, подчиненной ленинскому принципу партийности и неуклонной обязательности следовать в фарватере диалектического материализма. До сих пор продолжаются попытки опровергнуть теорию относительности. Об этом писал, в частности, В. Смилга в журнале « Знание — сила » :

« В некоторых лабораториях до сих пор пытаются опровергнуть экспериментально специальную теорию относительности. Это еще более нелепое занятие, чем оспаривание возможности телепатии » 26).

В советских журналах до самого последнего времени печатали статьи « опровергателей » и критиков теории относительности, выступающих с позиций диалектического материализма (статьи академиков : В. А. Фока, А. Д. Александрова, Яноша и др.).

Необходимо напомнить, что Ленин в книге « Материализм и эмпириокритицизм » 27) упоминал о теории относительности, но не критиковал ее. Наоборот, отзывался о ней скорее одобрительно. Известны и более поздние похвальные оценки Лениным работ Эйнштейна. Однако, ленинцы не следовали в этом вопросе завету своего вождя.

Чем же объясняется то, что советские руководители и теоретики отвергали теорию относительности, запрещали ее преподавание в советских учебных заведениях, заставляли ученых исследователей и новаторов скрывать, что они пользуются теорией относительности?

Дело, оказывается, в том, что теория относительности объективно выявила и установила несостоятельность диалектического материализма — основы философии и, значит, идеологии руководителей КПСС.

Как известно, в основе этой философии — утверждение, что импульс всеобщего саморазвития определяется единством

---

25) Журнал « Коммунист » № 17 за 1966 год.
26) Журнал « Знание — сила » № 1 за 1966 г., стр. 50-51.
27) В. И. Ленин, Собрание сочинений, 4-е издание, том 14.

и борьбой противоположностей (основной закон марксистско-ленинской диалектики). Маркс, Энгельс и Ленин видели подтверждение упомянутого закона в современном им естествознании, в частности, в физике.

Еще недавно господствовало убеждение, что структурно вещество состоит из двух противоположно заряженных частиц: электронов и протонов. В мировоззрении, опирающемся на теорию относительности, мир предстал более сложным. Стало ясно, что волны — не форма бытия электронов и протонов, а самостоятельные структурные факторы, которые в субатомном мире играют роль микрофакторов. Выяснилось, что эти микрофакторы могут решающим образом воздействовать на взаимодействие электронов и протонов (противоположностей). Оказалось, таким образом, что не только взаимодействие противоположностей составляет содержание и внутренний импульс саморазвития. Это означало, что суть диалектики — ее закон единства и борьбы противоположностей не соответствует истине. Открытие нейтральных и промежуточных частиц подтвердило этот вывод, ставший неизбежным в новом, эйнштейновском понимании мира.

Еще одна причина побуждала советских руководителей и их теоретиков — этих администраторов советской науки — отвергать теорию относительности, как противоречащую ленинскому принципу партийности (партийной утилитарности) науки. В течение десятилетий в советском «философском фронте» не понимали физического смысла нуля и бесконечности, получающихся при оперировании математическим аппаратом теории относительности. Например, утверждение теории относительности, что длина частиц-волн, движущихся со скоростью света, равна нулю, побудило руководителей советской науки объявить Эйнштейна идеалистом. (В категориях мышления этих руководителей идеалист — значит фидеист, шарлатан, путаник, невежда, враг и т. п.)

«Эйнштейн отрицает материальность света, — говорили толкователи теории относительности из «Философского фронта». — Ведь эйнштейновский свет лишен пространственных характеристик (не имеет длины). По Эйнштейну масса может увеличиваться при возрастании скорости без малейшего прибавления материи. Значит, масса может появляться из ничего! Это же чистейший идеализм!»

Эти же блюстители партийности науки считали, что общая теория относительности противоречит тезису марксистско-ленинской философии о бесконечности времени и пространства.

Раззадоривала советских критиков теории относительно-

сти и гражданская позиция Эйнштейна, его приверженность подлинно-демократическим гуманным идеалам, его призыв к усилению роли Организации Объединенных Наций, в которой Эйнштейн видел предтечу, прообраз мирового правительства.

Таким образом, теория относительности оказалась противницей диалектического материализма, а Эйнштейн — противником раскола мира по идеологическим побуждениям.

Не удивительно, что когда А. Эйнштейн умер, то, в отличие от западной печати, « Правда » ограничилась тремя скупыми строчками объявления о его смерти на последней странице.

Сейчас « Философский фронт » — руководители советской науки признали теорию относительности и весь связанный с ней арсенал новых научных направлений и открытий; однако, это не сняло противоречия между мировоззрением, опирающимся на теорию относительности, то-есть современным научным мировоззрением, и диалектическим материализмом — философией, идеологией руководства КПСС.

д) **Квантовая механика.**

Как и теория относительности, квантовая механика была в СССР фактически под запретом до второй половины пятидесятых годов. До сих пор руководители советской науки и весь « Философский фронт » утверждают, что создатели квантовой механики неправильно её понимают и делают из неё неверные выводы. Вот, что можно прочесть об этом в советском « Кратком философском словаре » :

« Развитие квантовой механики оказалось замедленным вследствие субъективно-идеалистических извращений теории, распространенных среди буржуазных физиков и оказавших влияние также на некоторых советских физиков. Придерживаясь субъективно-идеалистических философских взглядов физики капиталистических стран (в том числе Гейзенберг, Бор, Шрёдингер, внёсшие значительный вклад в создание квантовой механики) представляют ее в превратном виде... Идеалисты доходят до отрицания причинности в микропроцессах, до признания « свободы воли » электрона и прочей мистики » 28).

В книге « Ленин и новейшая физика », изданной Академией Наук СССР, читаем :

« На протяжении трех десятков лет и до самого последнего времени В. Гейзенберг воинственно отстаивал махистские

---

28) Краткий философский словарь, 4-е издание, Госполитиздат, 1955 г., Москва, стр. 193.

взгляды... Каковы же его философские взгляды сейчас? Гейзенберг отвернулся от субъективного идеализма, но он перешел на позиции идеализма объективного » 29).

О продолжительности и характере советского бойкота квантовой механики писал Д. Данин в книге « Неизбежность странного мира » :

« В бдительности догматиков за эти три десятилетия недостатка не ощущалось. Один профессор называл создателей квантовой механики « агентами империализма », которые путем неправильного истолкования пси-волн откровенно намеревались увести пролетариат от классовой борьбы » 30).

Из литературы, содержащей нападки на квантовую механику, как и из писаний противников генетики можно составить библиотеку. Рьяные защитники ленинской партийности науки назвали квантовую механику « абракадаброй двадцатого века ».

Что же побудило советских руководителей и теоретиков выступать против важнейших достижений мировой науки, в том числе, против квантовой механики?

Всё дело в том, что квантовая механика установила вероятностный характер закономерностей в субатомном мире. Стало ясно, что мир природы — вероятностный мир и что прежнее понимание причинности явлений в природе несостоятельно. Это послужило толчком к пониманию того, что и массовые общественные процессы, то-есть история общества, тоже подчинены вероятностным законам. Фатализму марксистско-ленинского детерминизма был объявлен мат. Стало ясно, что поскольку все процессы саморазвития импульсируются не только взаимодействием противоположностей, но и многими другими факторами (нейтральные, промежуточные, микрофакторы, катализаторы, случай, условия среды и ее влияние и т. д.), законы развития этих процессов могут быть только вероятностными.

Понимание этого означало вынесение окончательного смертного приговора формально-диалектическим, а по существу механистическим марксистско-ленинским законам общественного развития.

Блюстители ленинской партийности науки так отстали от современного уровня знаний, что даже терминология совре-

---

29) Э. Кольман, академик, « Ленин и новейшая физика ». Академия Наук СССР, Институт истории естествознания и техники, Госполитиздат, 1961 г., стр. 124.

30) Даниил Данин « Неизбежность странного мира », Издательство ЦК ВЛКСМ « Молодая гвардия », 1961 г., стр. 299-300.

менной физики вызывает у них негативные эмоции. Такие понятия как « вероятность », « неопределенность », « свобода воли электрона », « призрачное взаимодействие », « странность » стали для упомянутых « блюстителей » поводом для обвинений квантовой механики, теории относительности и др. в мистицизме, реакционности и тому подобном.

Хранителей чистоты ленинских риз убеждали в обоснованности их обвинений такие, например, соображения, высказываемые даже ведущими советскими физиками :

« Открытие принципа неопределенности показало, что человек в процессе познания природы может оторваться от своего воображения, он может открыть и осознать даже то, что ему не под силу представить » 31).

Ясно, что это заявление академика Ландау было ударом по ленинской « теории отражения », по онтологии марксистско-ленинской философии. Как видим, квантовая механика и теория относительности объективно выявили псевдонаучность диалектического материализма. Стало ясно, что диамат мог казаться научно обоснованным только до появления первых статей А. Эйнштейна в « Анналах физики ». С позиций современных научных знаний и соответствующего мировоззрения, диалектический материализм — это система устаревших гипотез, комплекс изживших себя дедушкиных относительных истин.

е) **Кибернетика.**

Почему советские руководители и теоретики запрещали кибернетику и даже, как писал президент Академии Наук СССР Келдыш, « велась борьба против электронных машин »?

Отчасти потому, что кибернетика (как и генетика, теория относительности, парапсихология, теория резонанса, квантовая механика, бионика, психоанализ), как говорят в СССР, — « Западная » наука. В правящих кругах СССР до сих пор « квасной патриотизм » и стремление все достижения цивилизации приписать русским — играют определенную роль. Однако, в основе стремления не допустить кибернетику в СССР лежали идеологические соображения, требования все той же пресловутой ленинской партийности науки.

---

31) Академик Л. Д. Ландау, речь, произнесенная 17 апреля 1958 года на торжественном заседании, посвященном столетию со дня рождения Макса Планка. См. Данин — « Неизбежность странного мира », изд. « Молодая гвардия », 1961 г. стр. 276.

Кибернетику не допускали по той же причине, по которой запрещали парапсихологию: кибернетика противоречит онтологии марксистско-ленинской философии. Мы уже упоминали, что теория марксистско-ленинской онтологии о примате вещества (материи) над сознанием нужна советским руководителям и теоретикам для того, чтобы навязать гражданам некоммунистических обществ ту идею, что эти граждане (их сознание) не в состоянии совершенствовать социальное бытие в соответствии со своими стремлениями и чаяниями, по своей сознательной воле, так как общественное развитие объективно, фатально, неотвратимо подчиняется, мол, материальному « железному ходу » истории.

Марксисты-ленинцы сознательно принижают роль сознания людей некоммунистических обществ. Только за сознанием коммунистических руководителей, которым якобы известны имманентные законы всеобщего и, в том числе, общественного развития, признает марксистско-ленинская философия, вопреки своей онтологии, право и способность осуществлять ведущую, командную роль.

Кибернетика опровергла марксистский миф о том, что сознание людей целиком определяется процессами объективно развивающегося вещества (материи). Она доказала, что сознание не подчинено другим ступеням и формам развития реальности, хотя оно и связано с ними теснейшим образом. Наоборот, сознание людей способно, как известно, осуществлять руководящее воздействие на другие формы реальности.

В кибернетике сознание выступает как высшая форма реальности, как физический процесс, который можно рассчитать и даже моделировать.

Ясно, что в понятиях марксизма-ленинизма это — смесь вульгарного материализма и идеализма, а на самом деле — убедительное доказательство несостоятельности онтологии советской философии — этого верховного « всеобщего надзирателя над науками » (Г. Волков).

Догмы партийности науки требовали « заклеймить кибернетику ». Жрецы « партийности » — клеймили, хотя, по-видимому, многие из них сознавали, что наносят этим ущерб советской науке, экономике и престижу руководства КПСС. Интересы идеологии имеют в СССР примат над всеми иными.

Сейчас « Философский фронт » признал кибернетику, но противоречия между ее основополагающими идеями и советской философией не сняты.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рамки этой статьи не позволяют нам разобрать причины, побудившие советских руководителей и теоретиков запрещать другие, не угодные им « западные » науки (бионику, психоанализ, теорию резонанса, социологию и др.). Однако, и сейчас у нас есть достаточно оснований утверждать :

1. Ленин и особенно советские ленинцы и их ленинизм вольно и невольно тормозили и даже в ряде случаев срывали развитие ряда отраслей науки, а вместе с ней — техники, технологии и услуг населению;

2. Они делали это потому, что эти науки вскрыли несостоятельность, псевдонаучность советской философии — идеологии.

Иными словами, в течение ряда десятилетий руководители КПСС -— ленинцы тормозили развитие производительных сил советского общества, развивали только те отрасли хозяйства и культуры, которые были нужны им для удержания, укрепления и расширения их власти (военная и связанная с ней промышленность, соответствующие науки, учреждения, занятые заимствованием достижений западной, главным образом, военной науки и техники и т. п.).

В советской философии, конкретнее — историческом материализме есть закон единства и борьбы производительных сил и производственных отношений. Это один из фундаментальных законов этой философии. Согласно ему производственные отношения (включая машину властвования) подлежат слому, если они стали оковами развития производительных сил общества.

Маркс писал :

« Когда из форм развития производительных сил производственные отношения становятся их оковами, наступает эпоха социальной революции » 32).

Таков закон марксистской философии. Если он верен, то советское общество « беременно революцией ». Если не « беременно », то марксистско-ленинская философия не состоятельна. Третьего не дано.

Если есть эволюционный выход из продолжающегося в СССР кризиса науки, то он, по-видимому, может быть найден только тогда, когда советские руководители примут к руководству и исполнению завет основоположника русской науки М. В. Ломоносова : « науки не терпят принуждения ». И не только науки.

А. Варди

---

32) К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, том 13, стр. 7.

П. КОВАЛЕВСКИЙ

Русский Париж пол века тому назад

Весной 1920 года русский Париж переживал политически бурную эпоху в связи с образованием Русского Правительства в Крыму и переговоров о признании его Францией, которые вели А. В. Кривошеин, М. Н. Гирс и П. Б. Струве. Во французских правительственных кругах, в частности в Министерстве Иностранных Дел возглавлявшемся А. Мильераном и его ближайшим сотрудником, бывшим послом в Петербурге, М. Палеологом, настроение было явно сочувственное. Всё же большинство русских политических деятелей, после неудачи « Политического Совещания » и попыток участия в мирных переговорах, было настроено явно пессимистически. Об этих мало еще изученных вопросах я скажу в особой статье, посвященной последнему Русскому Правительству, а сейчас ограничусь напоминанием о будничной жизни и деятельности русского Парижа пол века тому назад.

Хотя волна беженцев из России нахлынула на Францию немного позже, начиная с осени 1920 года, когда и были основаны первые русские общества и союзы, уже в начале года Париж становился не только политическим, но и культурным русским центром. В нем давно существовали такие учреждения, как Тургеневская Библиотека и Женское Общежитие на рю де л'Арбалет или Русская Православная Церковь на рю Дарю, но все-же русский Париж как несомненный культурный центр русского Зарубежья только зарождался.

Не безинтересно напомнить, что по официальным статистическим данным до войны 1914 года в Парижском Университете училось 1600 русских студентов, больше чем всех других иностранцев взятых вместе, а по данным Префектуры, во Франции было 35 тысяч русских.

Первым местом встреч в 1920 году было Русское Посольство на Рю де Гренелль, где были сосредоточены многие, как официальные, так и официозные учреждения и представительство Красного Креста. Послом с 1917 года был Василий Алексеевич Маклаков, поверенным в делах (советником) Н. А. Базили, секретарями Г. А. Колемин и Г. А. де Ла Тур, генеральным консулом Д. А. Аитов, а консулами Л. Д. Кандауров и В. Е. Ден. В Париже действовало уже « Совещание Российских Послов », во главе с Михаилом Николаевичем Гирс. Оно сыграет очень большую роль в делах эмиграции в последущие годы.

Душой посольства была сестра посла Мария Алексеевна Маклакова, которая не только возглавляла всю благотворительную работу чрез устроенную ею и обладавшую особыми правами как « œuvre de guerre » организацию, но она также широко принимала дипломатических представителей и видных членов колонии по праздникам.

С апреля 1920 года в Париже кроме посольства были члены Правительства ген. П. Н. Врангеля в лице его председателя А. В. Кривошеина и заведующего Иностранным Отделом, а фактически Министра Иностранных Дел, П. Б. Струве. Были и многочисленные военные, как экспедиционного корпуса сражавшегося на французском и салоникском фронтах, так и бывшие представители русского командования при союзниках.

Вторым центром, в котором по воскресеньям и праздникам встречалась вся русская колония и двор которого был постоянным « клубом », где находили своих друзей и знакомых вновь прибывающие, была русская церковь св. Александра Невского на рю Дарю, построенная в 1861 году.

Во главе прихода стоял протоиерей о. Иаков Георгиевич Смирнов (с 1897 года), а вторым священником был, переведенный в начале войны из Берлина, протоиерей Николай Сахаров. О. Иаков, б. доцент Петербургской Духовной Академии и потом настоятель приходов в Стокгольме и Дрездене, был одновременно благочинным русских приходов во Франции и, так как сношения с епархиальным архиереем, митрополитом Петроградским, были затруднены, он заведывал также оставшимися во Франции военными священниками. О. Н. Сахаров, сотрудник протоиерея Мальцева по переводу богослужебных книг на немецкий язык, сразу принял близкое участие в просветительном деле русского зарубежья.

Протодиаконом был о. Николай Тихомиров, бывший до Парижа диаконом Спасского собора в Зимнем дворце. Старик Будро управлял хором, состоявшим исключительно из французов, которые пели по нотам с славянским текстом латинскими буквами. Кроме причта храма и военных священников, в Париже жил и служил на рю Дарю прот. Гавриил Леончуков (будущий епископ Иоанн и наместник Сергиевского Подворья), который был в коммандировке от Синода для закупки воска для свечных заводов и остался за границей. Он был очень живописной фигурой, носил цилиндр и о нем ходил по городу анекдот. Раз его на улице остановили вечером подозрительные типы. О. Гавриил, который очень плохо объяснялся по-французски, встал в воинственную позу, направил на атакующих свой зонтик и громко произнес « Си ву муа — катастроф », что

возымело неожиданный результат и все три прохидмца сбежали.

Другой примечательной фигурой на церковном горизонте Парижа был митрополит Григорий, епархия которого Чаталджа была занята болгарами и который поселился в Париже для занятий в библиотеках. Он тоже служил на Дарю, но по скромности всегда « иерейским чином ».

Весной 1920 года сведения о событиях в России поступали очень скудно, русские газеты кроме « Общего Дела » В. Л. Бурцева начнут выходить позже, а французская пресса уделяла очень мало внимания событиям в Крыму и вообще в России. Приходили иногда газетки, издававшиеся в Константинополе, но они говорили главным образом о местных русских делах. Первым издателем в Париже был Я. Поволоцкий на рю Бонапарт, но надо заметить, что русские застали в столице Франции одну из лучших типографий в Европе — « ЛАПИНА », основанную и руководимую русским Ильею Лапиным; она издавала открытки в красках и репродукции картин русских художников и альбомы для России, из которых самыми известными были посвященные 300-летию Дома Романовых, Музею Александра III и Отечественной Войне.

Русское благотворительное дело начинало организовываться стараниями М. А. Маклаковой и ее « Общества Временной помощи русским во Франции » и супруг Денисовых. Николай Хрисанфович и София Владимировна устроила первый приют-школу для подобранных ими в Константинополе детей, в Мери-Сюр-Уаз под Парижем.

Необходимо также отметить полезную инициативу группы русских педагогов, решивших помочь тем, кто не смог в России, из-за революционных событий, закончить свое среднее образование или получить диплом и дать им возможность выдержать экзамен в особой Комиссии при посольстве. Впервые эта мера была проведена в действие в Копенгагене, где, по инициативе С. Г. Попича и при содействии русского посланника бар. М. Ф. Мейендорфа, была организована Экзаменационная Комиссия. В феврале 1920 года в помещении Посольства на рю де Гренелль открылись подготовительные к Аттестату Зрелости и диплому об окончании Реального Училища курсы. Во главе их встал б. Директор Медведниковской Гимназии в Москве В. П. Недачин. Кроме него в Комиссию по производству экзаменов, Председателем которой был первый секретарь посольства Ю. А. Колемин, вошли : прот. Николай Сахаров, полк. Б. А. Дуров, К. Д. Старынкевич, В. В. Дюфур, Е. А. Шамие, проф. Е. А. Аничков и прис. пов. Бентковский. Экзамены были произведены между 10 июня и 12 июля. Осенью

1920 года эта же группа преподавателей положила основание Русской Средней Школе (Гимназии) в Париже.

Переходим теперь к внешнему виду Парижа, в котором тогда жили русские. Город мало походил на тот, который мы привыкли видеть теперь. Движение было небольшое. Большинство автомобилей было реквизировано во время войны, были частично использованы также и автобусы и поэтому главным средством сообщения были трамваи старого образца, в два этажа, которые имели своей стоянкой плащади Сен-Жермен-дэ-Прэ и Сен-Сюльпис. Новые трамваи были разделены, также как и автобусы, на два класса.

Метро состояло из двух самостоятельных отделов, не имевших общих переходов : « Нор-Сюд » и собственно метро, что затрудняло пересадки. Цена проезда была 20 сантимов. Некоторые линии еще не существовали, например, та, которая соединяет Порт-Сен-Клу и Монтрейль.

Самой трудной проблемой было денежное обращение. Во время войны все департаменты и большинство больших городов выпустили свои бумажные деньги, которые ходили в принципе только в даннном департаменте. Парижские принимались во всей Франции, но не были обязательными. Имелось свыше 60 различных серий кредиток и разобраться в них было очень трудно. В 1920 году появилось серебро, которое было припрятано во время войны, и хотя редко, но можно было видеть даже большие серебряные монеты в 5 франков.

Цены были на всё относительно низки, например, обед в приличном ресторане (« Министер » на рю дю Бак) стоил 3 франка 25 сант., за которые клиент получал кроме прибора с салфеткой (настоящей, а не бумажной) хлеб в неограниченном количестве, закуску или суп, мясное блюдо, овощи, сыр или сладкое и вино или пиво или минеральную воду. На чай давалось 25 сантимов и за 3 с полтиной можно было хорошо пообедать.

На многих перекрестках стояли еще « бараки Вильгрен », сооруженные во время войны, в которых продавались по особо удешевленным ценам продукты.

Осенью 1920 года Париж имел уже иной вид, а русский Париж сорганизовался и начал свою культурно-просветительную работу, но об этом в другой раз.

П. Ковалевский

Л. ДОМИНИК

Открытое письмо по поводу неуспеха «Леса»

Пишу «неуспех» и сомневаюсь, подходящее ли это слово. Для того, чтобы пьеса преуспела или провалилась, нужно было бы узнать мнение некоторого количества эрителей, пришедших в театр без всякого предвзятого влияния. В данном случае, как и во многих других, предполагаемые зрители просто не рискнули своими франками, всецело полагаясь на мнение одного или двух рецензентов больших ежедневных газет, уставших от трудно переваренных пьес Чехова и переделок Достоевского.

Должно быть, во всей нашей литературе и драматургии ничего кроме этих двух имён не существует. Откуда они появились, эти классики, чьими учениками они были, под чьим влиянием развивались — это здесь никого не интересует.

Местная пресса жонглирует именами и датами русской революции, ссылается на авторитет живущих здесь писателей русского происхождения, но не интересуется ни настоящей русской историей вообще, ни историей русской литературы в частности.

Почему-то древний китайский или японский театр привлекают одобрительное внимание, несмотря на то, что ни одно слово не понятно, или, может быть, именно, в силу этого. Когда же предлагаются шедевры русского классического репертуара, прекрасно переведённые на французский язык, вожди местного театрального мнения не находят нужным серьёзно рассмотреть этот матерьял.

Если моему уважаемому собрату имя Островского было незнакомо, если ему чужд русский быт, то, казалось-бы, нужно благодарить такого театрального Дон-Кихота, как Андрей Барсак, за его старания увеличить местный сценический багаж и дать дополнительное понимание русской истории, с ее отражением в литературе.

Конечно, Островский не Лабиш и не Фейдо, не Брехт и не Гатти; Барсак не Планшон и не Шерро. Нужны другие мерки, иной подход, большее интеллектуальное усилие для ознакомления широкой публики с одним из неоспоримых шедевров русской драматургии.

Для русского читателя или зрителя совершенно ясно, что вклад Островского в сокровищницу русской культуры огромен, но мы тоже согласны с тем, что Тит Титычи, Семибратовы, Курослеповы, Кабанихи, Градобоевые ушли в небытие. Для ознакомления с ними нужно знать русскую историю и экономику 60-тых, 70-тых годов прошлого столетия. Нужно

быть знакомым с историей перехода от крепостнического быта к периоду становления русского купечества и бурного пробуждения торговли и промышленности с их « тёмным царством » и « лучами света в этом тёмном царстве ». Мы не смеем рассчитывать на столь глубокое изучение русской предреволюционной истории.

Но, ведь, персонажи и жизнь их в пьесах Островского далеко, хотя и не всегда, переходят за рамки ограниченного класса русских людей в данный отрезок времени : есть у Островского целый ряд комедий, в которых и современный зритель может найти своих знакомых, и не только русского происхождения. Возвращаюсь к « Лесу ». Разве так уж трудно найти в местном обществе Гурмыжскую, богатую и стареющую вдову, расходующую доставшиеся ей по наследству средства на молодых любовников и проявляющую, при этом, черты скупости по отношению ко всему, что не связано с ее страстишками? Неужели же вы не встречали Улиту, потворствующую всем грязненьким предприятиям своей госпожи, поскольку она сама « того же поля ягода », да, лишь, положение и средства не позволяют? Хитрость, подхалимство, притворство, доносительство, ханжество — всё это так близко и так недавно, вчера, сегодня, завтра окружает, входит в быт, но мы столь привыкли ко всему этому, что не замечаем или делаем вид, что не замечаем, ибо иначе трудно жить. Уверены ли вы, что ныне и во Франции нет Аксюш, притесняемых богатой тёткой, находящихся в полной зависимости от нее? А сколько на каждом шагу мы встречаем элегантных юношей, старающихся обратить на себя внимание богатых покровительниц.

Переходим к знаменитым персонажам двух странствующих актёров, Геннадия и Аркашки. Несчастливцев — типичный трагик, настолько вошедший в своё амплуа, что трудно определить, когда он говорит от собственного имени и когда произносит чужие слова или заимствует тональность театрального персонажа. Мне лично, и совсем недавно, приходилось встречаться с артистами, мужчинами и женщинами, которые задолго входили настолько в роли своих будущих героев, что держали себя в частной жизни, как на сцене. Видал и таких, о которых я никогда не узнал, кто же они помимо наигранных персонажей. Геннадий Несчастливцев выгодно отличается от них, т. к. за маской комедьянта стыдливо скрывается великодушный человек, романтик, гордый своей бедной независимостью. Ему театральная маска нужна, ибо он стесняется в этом страшном человеческом « лесу » проявлять глубинные качества своей души. Аркашка Счастливцев? В любом комике, во всяком клоуне сидит где-то в глубине души далеко не ве-

сёлый человек, скрывающий за привычной маской смеха, за кривляньем, некоторую тоску, неудовлетворённость. Это старо как мир, но нужен огромный талант Островского, чтобы придать среднему комику оригинальные черты. И нужен большой талант актёра, чтобы суметь показать сквозь видимый персонаж весёлого бесшабашного комедьянта внутреннюю сущность забитого человека, не вполне сознающего, что он лицедей по призванию и для другой жизни не годится.

Я не буду останавливаться на всех персонажах « Леса », которых можем встретить и встречаем на каждом шагу, хоть и под чуждыми именами : нужно, лишь, маленькое усилие фантазии.

Перехожу к построению пьесы, каковую один из моих знаменитых коллег сравнил с несмешивающимися слоями коктейля. Ему показалось, что различные эпизоды комедии идут параллельно, не имея внутренней связи. Кроме того он не нашёл завязки в пьесе, с чем мы совершенно согласны. Завязки нет и быть не должно, т. к. в первых картинах существует экспозиция, вводящая зрителя в существующие уже отношения вдовы Гурмыжской с её племянницей и молодым кандидатом в любовники; мы узнаём здесь о давно завязавшейся любви Аксюши к Петру, об установившихся операциях по продаже леса, о характере героинь, словом — обо всей « лесной » жизни ее « сов » и « филинов », как говорит позже Геннадий. Это затишье перед бурей, приходящей вместе с актёрами. И здесь начинается сильная акция.

Я позволю себе напомнить критикам этого замедленного вступления, что появление главного действующего лица в « Тартюфе » Мольера происходит тоже после предварительного введения зрителя в обстановку, в которой действие будет развиваться. То же самое можно отметить и в « Скупом », т. к. Гарпагон появляется много позже начала действия. Да таких классических примеров можно привести сотни.

Кстати о Мольере. В одной из критик я прочёл, что мы называем Островского русским Мольером. Это совершенно неверно. Подобной претензии я никогда и нигде в истории русской литературы не видел. Островский жил и писал сравнительно недавно и не рассчитывал на роль универсального классика. Но, вместе с тем, не приходится сомневаться в его значении в истории русской драматургии. Позволю себе высказать мнение, что столь усвоенный здесь Чехов кажется мне прямым наследником Островского, хотя бы в описании уходящего в историю одного класса общества и появления нового.

Возьмём Лопахина из « Вишнёвого Сада »! Разве он не родной брат Восмибратова из « Леса »? Сама концепция жиз-

ни последних дворян-землевладельцев отражается во многих пьесах Островского так же, как и у Чехова. Раневская и Гаев (« Вишнёвый Сад ») мне кажутся близкими родственниками Гурмыжской (продажа леса-продажа Вишнёвого Сада). Аркадина из « Чайки » такая же комедьянтка как и актёры Островского с той разницей, что за её актёрством не чувствуется никакой идеализации. Не будем уже говорить об основном фоне для развития « комедий ». Дремучие заросли, из которых стараются вырваться « Три сестры », « дядя Ваня », Иванов, Треплёв и другие герои Чехова, похожи на « лес », откуда ещё успевает выскользнуть Геннадий Несчастливцев. У этих героев ясное понимание удушливой атмосферы, засасывающей трясины; другие же прекрасно себя чувствуют, полны самодовольства, наслаждаются спокойствием застывшего уклада бесцельной жизни.

Позволю себе спросить наших читателей, не кажется ли им иногда, не чувствуется ли, что и мы здесь с нашей литературой, с нашими запросами, со стремлением к приобщению к чужой культуре — что мы тоже находимся в лесу непонимания и нежелания понять что такое была Россия, кто такой русский человек, насыщенный гуманистическими идеями, пришедшими к нам вместе с великими русскими поэтами, беллетристами, драматургами и русским театром. Тут же вспоминаются наши рецензенты, заслуживавшие этого имени. Ошибки в суждениях бывали, да и « кто не ошибается? ». Но во-первых никто и никогда не позволял себе говорить с авторитетом о предметах, о которых не имел даже приблизительного понятия. И, слава Богу, русский зритель позволял себе « своё мнение иметь » и не подчинялся слепо вкусу даже известного критика. Он шёл в театр, званный туда своей вековой потребностью в просвещении и спектакле.

Я не позволил бы себе писать всё вышесказанное, если бы показанный « Лес » в театре « Ателье » оказался недостаточно хорошо сделанным. По мнению всех, видевших эту постановку, спектакль был очень хорош, но, к сожалению, таких « отважных » зрителей оказалось так мало, что Островский вынужден покинуть сцену.

Цитирую еще раз, по памяти, слова Геннадия : « Пойдём отсюда, Аркашка! И как мы забрели сюда? Что нам делать здесь среди этих сов и филинов? »

Дремучий лес, сквозь который безуспешно, но с хорошими намерениями, пытались пробиться некоторые рецензенты еженедельных журналов; это оказалось слишком поздно : заросли уже пустили новые и густые ростки.

Лев Доминик

К Н И Г И

Н. УЛЬЯНОВ — «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»

(Изд. «Киннипиак», Нью-Хэвен, 1970)

Люди, одумайтесь! — вот призыв (о только-бы не вопль пророка Иеремии!) страшной книги Н. Ульянова: многие ее страницы — видение побежденного Злым Началом мира.

«Солнце» — сильнейший из сильных рассказов книги, в котором автор высказался всего полнее, что и подчеркнул, противоположив символ жизни — солнце — каменному небу духоненавистников, могильщиков человечества и поставив под этот гробовой покров всю книгу.

Этот рассказ стоит в прямой связи с романом Солженицына «В круге первом», но развит совершенно самостоятельно и с других позиций. Гений, вплотную подошедший к возможности, путем воздействия на серое вещество мозга, направлять, заново формировать человека, — становится пленником тоталитаристов-коммунистов...

Для них его открытие капитально: оно обеспечит, в их руках, владычество над человечеством, владычество окончательное и «бесконфликтное». Сфабрикованный научным способом «гомункулус», — уже не «образ и подобие Божие», а тот «советский человек», которого никаким мучительством не удается выработать из россиянина, — позволит любые эксперименты над сознанием, податливым, как глина...

Гениальный «молодой человек», — автор не дал ему ни прошлого, ни даже имени, — бедствует в Париже, голова его переполнена магическими формулами, но у него нет доступа к лабораториям, к экспериментальной проверке своего открытия.

Но при всем этом он человек свободный.

Между тем, вездесущая разведка тоталитаристов пристально следит за его работами и высшие инстанции убеждены в реальной осуществимости его гениальной догадки. Овладеть им, дать ему матерьяльную возможность опытно проверить и практически завершить способ направлять человека по своему желанию, поставлено задачей специальной группе сотрудников того учреждения, которое, меняя свое наименование, остается орудием принудительного удержания под властью ничтожного, но волевого меньшинства трети человечества, с конечной целью загнать в хлев коммунизма остальные две трети.

Фабула рассказа и построена на перипетиях захвата изобретателя и приемах вымучивания его незаменимого сотрудничества.

И тут, как и « В круге первом », показано бессилие подлинного гения, — человека поглощенного своей идеей, — перед тупой и низкой, но физически овладевшей им маффией. Именно потому, что он обречен МЫСЛИ, гений, в конце концов, становится сотрудником хозяев его жизни. Тупицы не могут запугать его, но и он не может отказаться от своей ИДЕИ, а как будет она использована — для него ВСЕ ЖЕ ВТОРОСТЕПЕННО.

Надо сейчас же оговориться, что это положение касается гениального технократа, в самом широком понимании, но не чистого мыслителя — богоискателя, философа, писателя и поэта.

Но, и это последний парадоксально-проникновенный вывод автора, гений способен дать тоталитаристам орудие окончательного властвования над миром, сам же оказывается неспособным жить « под каменным небом » термитника : « Убейте! Убейте меня! » — кричит он своим истязателям, потому что, несмотря на торжество своего гения, он остается ЧЕЛОВЕКОМ и должен видеть СОЛНЦЕ.

И он гибнет, но, увы, утвердив то, чего живая его душа принять не может. Поистине квадратура круга...

Гипертрофия мозга и отмирание сердца — вот причина опаснейшего тяготения мира технократов к тоталитаризму.

Вскрытию присутствия в мире первородного греха посвящен другой рассказ — « Сеньор Торо ». Трусливый палач, садист, живущий во многих сознаниях, хотя и скрывающийся обычно в подсознании, показан в отвратительной театральности « боя быков », на который, за надежным барьером, вожделенно взирают тысячи, весьма добродетельных, мужчин и женщин. Каждая подробность в этом повествовании, выдержанном в спокойных тонах, но тем сильнее подымающем в сердце возмущение и жалость к « красиво » истязаемому животному, выписана рукою большого художника.

« Под каменным небом » мы видим изуверов, поработителей человеческого духа, в « Сеньоре Торо » — благополучного горожанина, сладострастно вдыхающего испарение крови, потрясаемого палаческим ознобом.

Эти две вещи, с ужасающей убедительностью, иллюстрируют прогноз проф. Н. И. Ульянова, на который в номере 219 « Возрождения » (март 1970 г.) ссылается редакционная статья : пессимистическое убеждение в утрате человечеством воли к сопротивлению наступающему коммунизму, основанное на пристальном изучении современности.

Увы! Внешние признаки такой вывод, в значительной степени, подтверждают. Но, как сказал президент Никсон, приве-

дя в замешательство глашатаев подкупленного или растленного « общественного мнения », кроме крикливого лагеря потенциальных анархо-коммунистов, в Америке, как и в других странах, существует еще и « молчаливое большинство », и оно вполне способно сдержать порывы разрушителей, хотя и кажется, покамест, пассивным. Что еще важнее, сохранившуюся физическую силу аппарата коммунистической партии более не вдохновляет пафос марксовой веры. Сановники, ответственные товарищи и « власти на местах » обратились в чиновников-карьеристов, т. е. откровенных шкурников, а без веры в правоту своего дела политическое движение утрачивает свою активность. С другой стороны, открытое недовольство практикой режима, стоящего в непримиримом противоречии с им же лицемерно провозглашенными принципами, проявляющееся в рядах интеллигенции, позволяет, не поддаваясь излишнему оптимизму, утверждать, что коммунистическое властвование над Россией приближается к закату.

Нам и хочется закончить эту заметку черточками, показывающими человека способным к просветлению, живого человека, готового, вслед за Сталиным, выбросить из московского мавзолея и столетнюю мумию Ленина. Мы почерпнем их из той-же книги Н. Ульянова.

Если эпиграфом к рассказу « Первого призыва » взят афоризм З. Гиппиус : « В последней жестокости есть бездонность нежности », — надуманный и кощунственно фальшивый, — то автор вкладывает в него новое содержание, потому что он жил, а не умствовал, и его память хранит всё богатство страшного опыта современной России.

Чекист « первого призыва », убийца, изверг, в котором вдруг просыпается любовь, по своей жгучести не уступающая ненависти, — это-ли не доказательство, что русская душа способна ко всем крайним проявлениям, что наш народ таит в себе силы великого подъема?

Тому же совмещению несовместимого в русской натуре посвящен, знакомый уже нашим читателям, рассказ « Мистер Ган », где загримированный нью-йоркским гангстером русский наемный убийца и его жертва — эмигрант священник находят чудесный путь к взаимному доверию.

Н. Ульянов умеет обнаружить Ахиллесову пяту русских злодеев, волну жалостливости, когда Зло тает, чтобы раскрылся под личиной Кудеяра лик Питирима.

Николай Вл. Станюкович

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ — « С Т И Х И »

(Изд. « ПОСЕВ », Франкфурт-М., 1969)

Это книга нарушенного равновесия : всё, начиная с названия — « Стихи », не соответствует содержанию. Центр тяжести, значимость этой книги находится в « Приложении » — прозаическом ее завершении.

Поэтому мы сперва им и займемся.

« Приложение » — изумительный по бесстрашию человеческий документ, а не литературное произведение, это победа личности, сохранившей образ и подобие Божие, в клетке ленинского зверинца. Оно составлено из писем автора написанных из советской больницы и из дома умалишенных, что, впрочем, в данном случае равнозначуще — заключение или « лечение » были насильственны.

Пересказывать их содержание и невозможно, и ненужно — их надо прочесть. Эти, на первый взгляд, чрезвычайно личные письма говорят в каждой строчке о рабской зависимости « советского человека » от бездушной машины партии, которой всё, и в том числе врачи, подчинены полностью.

Это обнажение механизма принуждения и придает письмам беременной женщины к ближним интерес, перерастающий их содержание. Они — не сатирическое обличение, неизбежно впадающее в преувеличение и вызывающее известное недоверие, а будничное изложение фактов, до которых не додуматься никакому сатирику.

И в этом-то их сила.

Наталья Горбаневская одна из тех, кто решился на протест против подавления чехословацкой « весны », она, мать малолетнего сына, ожидающая второго ребенка, сознательно поставила как их так и себя под удар. Держа на руках трехмесячного ребенка она — редчайший пример жертвенности — приняла участие в демонстрации на Красной Площади и, благодаря своему положению, единственная, осталась временно на свободе.

Но свободой она воспользовалась не для того, чтобы спасти себя и детей, а для продолжения борьбы. И, может быть, высочайшая трагедия, для этой родившейся и выросшей в СС СР женщины, заключается в том, что она, всё же, верила, как видно из писем, что советская власть сохранила какие-то проблески человечности, что дети охранят ее от застенка...

Увы! — в последнем, мартовском, номере ежемесячника « Изгнание и Свобода » мы читаем : « поэтесса Горбаневская, после своего ареста, исчезла! » Что означает это слово — ссыл-

ку или смерть, — мы не знаем, но в начавшемся процессе освобождения России этой смелой душе обеспечено почетное место...

Сознаюсь, мне было бы легче закончить этим мою краткую заметку : Наталья Горбаневская — подлинная гражданка вечной России — достойна преклонения, но, для меня, всё ее значение исчерпывается гражданским подвигом. Среди миллионов русских людей покорившихся, отрекшихся от самих себя, эта маленькая женщина пример главенства Духа над материей. Разве этого недостаточно? Но она писала и стихи...

И, даже для нее, я не могу отступить от долга критика : судить по совести. Не так давно мне довелось, на этих-же страницах, откликнуться на книжку стихов Галича — человека того же закала и той-же судьбы, — эти стихи-песни, изданные « Посевом », звучат и будят душу человека, на них лежит печать подлинности. Человек и поэт друг друга дополняют, чего не скажешь о стихах Горбаневской.

И когда в, обычно, « казовом » (поэту не менее чем лавочнику необходимо показать « товар лицом ») начале книжки мы читаем такое :

Мечтательные недоноски
Купались в теплом молоке,
И сохли жеванные соски
В кривой откинутой руке

— то становится жутко...

И многое в том же духе можно бы привести из отдела стихов, который безмерно выиграл бы при сокращении.

Но закончим стихами, которые можно поставить эпиграфом к « Приложению » — свидетельству мужества, веры и страдания :

На шею вешаюсь, как ладанка и крест,
Но всё безбожники, безверники окрест.

Рванут покрепче шелковый шнурок,
И медный крест в пыли лежит у ног.

И я, в камнях застрявши головой,
Распята на булыжной мостовой.

И сыплется из ладанки песок,
Вчера еще родной земли кусок.

И затихают дальние шаги,
И влажен камень у моей щеки.

Эти стихи выплаканы и они доходят...

Николай Вл. Станюкович

Отклики наших читателей

ЕЩЕ О ВЫСТАВКЕ МАРКА ШАГАЛА

Глубокоуважаемый Господин Редактор,

Мое внимание было привлечено двумя статьями в №№ 217 (январь) и 218 (февраль) Вашего уважаемого журнала, посвященными выставке Марка Шагала в Гран-Палэ.

Первая статья, в январском номере, подписанная Г-ном М. Григоровским, в очень корректной, хотя, быть может, слегка иронической, форме, описывает виденные картины Шагала такими, какими они представлялись глазам посетителей, в том числе, конечно, и М. Григоровского.

Хотя я, к сожалению (?), не был на выставке, но, всё же, я думаю, могу судить об искусстве Шагала.

Вот, передо мной лежит томик, изданный в 1963 г. издательством « Marabout Université », томик, автор которого — Jacques Damase. В этом томике воспроизведены 30 офортов и рисунков и 24 картины *в красках* (масло, гуашь и даже один vitrail). Охватывают эти репродукции период от 1910 до 1961 года. Эти творения М. Шагала сопровождаются обильными комментариями — биографическими, до экстаза хвалебными и философическими (очень туманно выраженными).

Вторая статья, в февральском номере, за подписью В. Маркадэ, является ответом на рецензию М. Григоровского.

В. Маркадэ находит, что : « нарочно развязный тон его художественного обзора вызывает крайнее недоумение и требует более беспристрастной оценки критикуемой выставки ». « Творчество Шагала можно любить, можно оставаться к нему совершенно равнодушным, наконец, можно не любить совсем », — пишет В. Маркадэ, — « но подобного рода выпады (?) *недопустимы* ».

Далее В. Маркадэ лирически воспевает искусство Шагала, привлекая к объяснению своих восторгов авторитет Сергея Есенина, возглавителя, якобы, течения импрессионистов *).

Оскар Уайльд сказал (цитирую по памяти), что « истинно художественное произведение совершенно бесполезно и его единственное оправдание в том, что им все восхищаются ». Я бы добавил к этому, что всякие комментарии не должны итти дальше чем : « ах! как это прекрасно, как чудесно написано! » или : « как это отвратительно, какая тошнотворная пачкотня! »

---

*) Досадная опечатка в № 218, уже исправленная в следующем — 219-м — выпуске нашего журнала (стр. 85) : вместо **импрессионистов** должно было быть **имажинистов**. **Ред.**

« Но ведь каждому художнику важно не только, что он изображает, а как он это исполнил. Однако об этом-то г. Григоровский и упустил упомянуть », — пишет дальше В. Маркадэ (построение фраз не совсем соответствует синтаксису). Помоему, г. Григоровский очень ясно выразил *как* исполнены картины М. Шагала.

« Мне хотелось бы только выразить пожелание, ставшему для всех читателей своим, « Возрождению » » (реверанс в сторону « Возрождения ») « удержаться от печатания подобных изощрений в остроумии », — кончает свое послание В. Маркадэ : « чтобы не нести за них ответственности и не подвергаться напрасно нападкам » (угроза?).

« Le style est Mr. (ou Mme) Marcadet même ».

Прошу Вас и пр.

С. Варгулевич

Нас просят с другой стороны поместить по тому же вопросу следующие выдержки

ИЗ ПИСЬМА В СОЮЗ

...да никуда выставка не шагала. И не художник шагал, а художник Шагал. Понимаешь? С большой буквы. Это его так зовут. Он у вас там не очень известен, вероятно, потому, что он, кажется, нелегальным порядком, вывез свой талант заграницу, и кроме того, манера, в которой он этот талант проявляет, совершенно не подходит формировке сознания трудовой массы. Да он, вообще, и никакому сознанию не подходит. Его нужно смотреть наполовину потеряв сознание. Коровы у него и бараны, и люди и скрипки, — всё вверх тормашками по воздуху летает, преодолевая все установленные наукой законы притяжения и другие прочные устои. Это даже несправедливо показывать такое человеку после честного трудового дня, когда он нуждается в отдыхе для дальнейшего развития деятельности, а не в том, чтобы стоять и угадывать : почему же все эти знакомые предметы передвигаются без всякого порядка и назначения.

Да и рисунок у него небрежный : маленький Шурка в классе рисования лучше нарисует. Здесь-то, заграницей, он очень знаменит и даже расписал весь потолок Парижской Оперы. Но и здесь, он понятен, вероятно, только узким специалистам и привилегированному классу. Вот я, например, стояла перед одной картиной, старалась разобрать, в чем дело...

Вижу, мается рядом со мной женщина и всё оглядывается сиротливо на меня, словно стараясь угадать на моем лице хоть какое-то просветление, которым и она бы могла руководствоваться. Стоило мне посмотреть на нее сочувственно, как она тотчас ко мне и обратилась : « Это вот всё — модерн, видите... Это, наверно, так теперь и надо. Ну а мне-то — непонятно. В мое время не так рисовали... » Кротко так заметила, без возмущения, видимо, согласна принять и такое и силится не отстать от века. А еще : из сочувствия соотечественнику. Я уже сразу и по ее акценту и по тому самому, что ей потребовалось непременно с кем-нибудь поделиться своими переживаниями, догадалась, что она русская. Я ответила по-русски и она уже начала было рассказывать мне свою жизнь, но я безжалостно притянула ее внимание обратно к картине : — Посмотрим хоть, что тут написано, — сказала я. Надпись, на французском языке, обозначала : « России и ослам ».

— Вот это нам... — сказала вдруг француженка, тоже томившаяся возле картины, несмотря на свою молодость, новый покрой пальто и внешнюю созвучность эпохе, и с тоской перешла к следующей.

Картина, действительно, изображала полный и совсем непонятный кавардак. Хотя никто и не висел в воздухе, но главная центральная фигура, не то фокусника, не то сумасшедшего, стояла вверх ногами на одной руке и, повидимому, жестикулировала другою. А лицом-то она смахивала, прости Господи, на Ленина. Или мне уж со страху так показалось... А лица всех орущих вокруг него были уж совершенно оголтелые, без всякого человеческого сознания, не говоря уж о социальном, и видно они также ничего не понимали как и мы, глядя на картины.

Теперь ты еще больше удивишься и спросишь меня опять : почему же эта выставка мне так понравилась? А я и сама не знаю, почему. Не могу объяснить. Ведь я же ничего не понимаю в живописи, вообще. И решила-то я пойти из простого любопытства и, собираясь, больше думала о том, какое платье мне надеть, чем о картинах.

Вначале я долго смотрела сквозь затаенное намерение не дать и себя одурачить всей этой околесицей и так и переходила от картины к картине с улыбкой иронической и даже враждебной. И мне долго не нравилось. Но потом что-то переменилось, а что, — я не знаю. То ли зарябило в глазах от красок, то ли я устала и было жарко...

Народу было видимо-невидимо (ослов-то), на платье мое никто и не смотрел и я попросту перестала чувствовать себя и свои нормальные рефлексы и рассуждать здраво. Словно ту-

манная завеса опустилась... И так вот я и ходила в тумане, от картины к картине, и даже не думала — нравится или нет, а уходить никак не хотела. И даже стало казаться, словно завеса-то, не опустилась, а наоборот, поднялась и что в новом образовавшемся пространстве, за этой завесой, и все летающие коровы и другие искажения реализма получили свое законное место и, так сказать, оказались вполне понятными и знакомыми. Но объяснить-то я тебе не могу, потому что я и не думала тогда об этом. Сознание-то у меня и затмилось. Но вот только получилось, словно за этим обычным сознанием припрятано другое и что оно тоже воображает, что оно-то и есть самое главное. И правильное. А как же тут разобраться, которое из них слушать? Да и не разбиралась я, это я теперь разбираюсь, чтобы тебе объяснить.

Вот, например, изображена русская деревня. Каждый занят своим делом, как всегда. Видно всё это потому, что люди чуть ли не больше изб. Но нет, не как всегда. Потому что лежит посреди деревни, посреди дороги лежит — мертвец в гробу. Вот теперь я опять не понимаю, почему же это он посреди деревни лежит и, может быть, вообще, не так всё было, как я пишу, а в ту минуту казалось, что так и есть, что жизнь дальше, конечно, идет-то идет, но темно стало на деревне... потому что смерть в деревню вошла... Потому что большой черный гроб встал поперек дороги, как кость поперек горла, как бельмо на глазу...

Или зарезанный бык. Висит окровавленная туша. Когда днем приходишь в мясную лавку, они тоже висят, мы привыкли... Противно, может-быть, но не страшно : пища. А вот на картине — страшно. Ведь так страшно висит : зарезаный, истерзанный, распятый... за наши желудки. Ведь страшно мы все живем и не видим этого. А вот иногда завеса закроется или, наоборот, откроется — не знаю уж как там функционируют эти завесы — и видим всё по другому. И с такой ясностью, что страшно. Ведь режем сильных молодых животных для наших желудков... А потом и сами, — туда же... И кому на прокорм? Уж лучше и не думать об этом.

Это, конечно, и не только от картин бывает. Бывает и от другого. От всего, что может пролезть в глубину, туда, за вторую завесу, что ли...

Но ведь, — сила, значит, этот Шагал, если пролез. Если одурил меня так, словно я какого-то модного наркотику нанюхалась или накурилась, — не знаю уж как это делается... Вот потому и написала, что понравилось. А объяснить, всё равно, не умею.

Ты, наверно, напишешь, что это я просто с перепугу, от

всяких мертвецов... Нет, у него есть и другое... Вот, « вечер », например : притулилась пара, затихла... Смиренно так, бережно — вместе... И козел прижался, участвует в этом уюте... Смотрит большими глазами... А вокруг тишина, тишина... И только месяц сторожит в пустом небе, одинокий, как огарок в ночи...

Я еще думала, — на меня подействовало оттого, что у него почти во всех картинах русским духом пахнет. Избы русские, и месяц даже — русский, и в цветах — русские « Жар-Цветы » чудятся, и женщины — словно Птицы Сирины, Птицы-Гамаюны... Ведь надо же, столько лет человек живет среди иностранцев, а возьмет кисть в руки, и всё у него первые русские впечатления вылезают... Это, верно, тоже из-за той завесы, там он, наверно, и пишет свои картины и вот, встретиться с ним, чтобы его понять, можно только на той же почве... Самой туда попасть, хотя бы через обалдение.

Но, впрочем, дело не только в русскости, ведь иностранцам тоже нравится, особенно тем, кто картинами занимается и видно знает толк.

А может быть это массовый психоз... Может быть, я просто выдумала всё это и он сам, если бы прочитал, что я тебе пишу, посмеялся бы и сказал, что всё вовсе не так.

Теперь я сама не уверена, нравится или нет, поняла ли я что-нибудь или нет...

Так бывает со сном : проснешься среди ночи и знаешь, знаешь : что-то видела важное, поняла что-то, всё поняла... Вся душа встрепенулась навстречу... Только бы не забыть, как же это было?... А оно-то уже и ускользнуло... Ни формы, ни связи, — какая-то смутная путаница, белиберда. Заснешь снова, проснешься уже утром, что-то еще мерещится, вспоминается... но смахнешь быстренько своим утренним сознанием, как полотенцем : мало ли чего наснится, вставать пора.

А оно, то самое « поджилочное », которому наплевать на все наши установленные законы и измерения, нет-нет, и опять шепнет : так ведь было же что-то важное... Ведь было...

Пока мы его не затормошим обычными делами.

Марина Барсова

Считая, что обсуждаемый вопрос достаточно освещен с разных сторон, больше к нему возвращаться не будем. — Ред.

Б. БОРИСОВ

По «ту» сторону

Довольно странное явление можно было наблюдать в последнее время на страницах московских газет: фельетоны стали появляться значительно реже, а их качество ничуть не улучшается. Подписываются они совсем незнакомыми, или мало знакомыми именами. Фельетонист, несомненно один из самых лучших, Леонид Лиходеев, сник со сцены совершенно, или появляется так редко и в таких разнообразных изданиях, что поймать его в море пропагандной печати почти невозможно. И не нужно будет удивляться, если в конце концов выяснится, что он не имеет больше касательства к советской прессе. Ведь именно он писал фельетон о «дураках в рабочее время», это его «Крокодил» удостоил разноса за этот и сходные фельетоны. После этой «проработки» встречались еще кое где его фельетоны, но они уже были такими же худосочными, как последние рассказы Зощенко.

Не исключена возможность, что «товарищи», призванные «воспитывать» читателей, пришли к заключению, что фельетон вообще мало эффективен в качестве проводника к «сияющим вершинам коммунизма». Но и без фельетона газета — не газета. Вот и печатают, но предусмотрительно «зубы» у фельетона повырывают, — и на читателя вместо забористого зубоскала смотрит черная дыра беззубого рта.

Впрочем, несмотря на старания цензоров, фельетоны обкарнать под гребенку всетаки не всегда удается.

Вот для начала «Правда» от 15 января 1970 года. «Контора пишет».

Тема — «работы» Московской конторы Главного управления материально-технического снабжения Совета Министров Казахской ССР.

«Что же она делает?» — спрашивает фельетонист, и отвечает: «А пишет. Отчеты — ежеквартальные, ежемесячные, еженедельные. Сведения о поставках оборудования, наряды и спецификации, информации и реляции...

«Несколько лет назад были созданы Госснаб в Москве и госснабы на местах. Специально с той целью, чтобы упорядочить хлопотное дело снабжения. А контора в Москве тем не менее осталась».

Из дальнейшего выясняется, что такие конторы в Москве оплачивает не одна только Казахская ССР. И все они «пишут».

« В Украинской конторе раздается пулеметная дробь всех пятнадцати пишущих машиннок... »

Дальше фельетонный характер напечатанного утеривается совершенно. Это уже язык и манеры полицейского протокола, излагающего голые факты, притом часто противозаконные.

« По Казахской конторе, например, входящих и исходящих бумаг за десять месяцев прошедшего года процирку лировало без малого тридцать тысяч! Сто бумаг в день! Вот это работа! » И это « чужая » работа. Ее должны были выполнить республиканский Госбанк, главки Госбанка союзного.

Казахская контора имеет в Москве склад.

« Зачем? А чтобы получать с московских и близлежащих предприятий станки, сырье и т. д., завести на свою базу и уж с нее отправлять в родную республику...

« Что же получается в итоге? Контора, допустим, везет груз из Подольска в Москву, а уж потом отправляет его в республику ».

И делает она это для того, чтобы выполнить заданный ей план. И получить « отчисления »...

« В погоне за этими отчислениями иные ловкие снабженцы идут на обман : груз отправляют прямо с завода, минуя Москву, а в отчетах проводят его через свой склад.

« Контора, пояснили мне сведущие люди, « выбивает », « утрясает », согласовывает. Или еще здесь бытует профессиональный термин — « привязывает бумаге ноги »...

...« С каких это пор печально известная, чисто фельетонная фигура толкача-одиночки обрела у нас законные права под вывеской государственного учреждения? »

Придется нам оказать фельетонисту посильную помощь и напомнить ему, что « чисто фельетонная фигура толкача-одиночки » ничего не « приобретала ». Дело обстояло иначе. « Под вывеской государственного учреждения » ее « укрыли » директора предприятий. За хлопотами о получении материалов, сырья и полуфабрикатов, которых никогда своевременно и в нужном количестве снабженческие организации не поставляют, администрациям предприятий не оставалось времени раздумывать о чистоте партийных риз, и в помощь официальным снабженцам были созданы неофициальные « толкачи », — само название и указывает на их обязанности. И нужно заметить, что без их усилий говорить всерьез о снабжении не пришлось бы.

Доказательства сказанному находим и в заинтересовавшем нас « фельетоне ».

« Товарищи из Госснаба СССР стоят за то, чтобы деятельность подобных учреждений постепенно свертывалась. А на

деле, она, эта их деятельность, и не думает свертываться. Даже наоборот. В последнее время в столице возводится целый комплекс для такого рода заведений... Отвалили на это многие сотни тысяч рублей... В Министерстве строительного, дорожного и коммунального машиностроения в так называемой всесоюзной технической конторе « Союзстройдормашзапчасть » насчитывается 75 человек. Причем этих снабженцев в целях маскировки... объединили с конструкторами.

« В Союзном комитете по печати полиграфические предприятия снабжает бумагой контора в 235 человек. Контора эта « поедает » почти полтора миллиона государственных денег. А чем она занимается? Дублирует органы Госснаба. Причем у конторы Комитета по печати каждая тонна бумаги удорожается на семь рублей.

« ...В самом Госснабе контроль за поставками ведет специальный оперативно-диспетчерский отдел из тридцати человек. Такие же отделы есть и в главках при Госснабе, а в них больше двухсот работников. И в республике функционируют подобные инстанции. Да и весь аппарат Союзглавснабсбытов и Союзглавкомплектов — больше шести тысяч человек — занят по существу тем же самым контролем ».

Интереснее всего то, что контролем занимаются организации, не имеющие на то полномочий.

« ...Поскольку контора серьезными полномочиями не наделена, из республики по снабженческим надобностям для тех же согласований и утряски едет и едет в Москву командированный люд. За десять месяцев прошлого года в столице 290 работников Главснаба Казахстана отгостили в общей сложности 10 лет, 2 месяца, 10 дней ».

Да, не везет товарищам с « внедрением бережливости »! Уж лучше бы они « толкачей » и не трогали. Дешевле бы вышло. Для них-то « комплексов » не строили! К ним, насколько помнится, и требований таких, как теперь, не предъявляли. А именно :

« Казахская контора за год получает тринадцать тысяч заданий... А Украинская — больше двадцати пяти тысяч. И поручения сыплятся самые разные... Казахские снабженцы, к примеру, двинули на родину партию черенков цветов — гвоздики и хризантемы, несколько сотен кусков обоев, деревянных черенков для лопат и кувалд. Для материально-технического оснащения кабинета начальника Главснаба республики закупили 96 метров импортной ковровой дорожки и клей для нее... Алма-атинскому облисполкому дорожку удалось отправить самолетом. Стоило это... 915 рублей...

« Дело еще и в том, что подобные кустарные конторы дер-

жат при себе и некоторые союзные министерства... Вопреки очень ясным указаниям директивных органов ».

Если уж и « союзные министерства » не могут обойтись без услуг нелегальных толкачей, тогда какой же может быть спрос с периферийных республик?

Фельетон заканчивается совсем не по фельетонному.

« Думается, главное сейчас состоит не в том, чтобы подсчитывать убытки... сколько в том, чтобы навести в этом деле государственный порядок ». ...

Нет, уж лучше не трогать. Довольно уже « наводили порядок ». Пожалуй, хватит.

**
*

Фельетоны попадаются, конечно, разные. Есть и такие, в которых откровенно пишется о том, как устраиваются советские граждане, выполняя задания партии и правительства.

Пример такого фельетона находим в « Правде » от 1-го февраля. Называется « С днем ангела! ». В нем детально описывается как теперь партийные, советские и всякие иные работники шлют сотнями поздравления. И все за государственный счет.

« Только на нескольких конвертах, пришедших к нам из далеких деревень, были наклеены почтовые марки, а самые открытки, как видно, покупались в местных сельпо за наличный расчет ».

Автор сообщает читателям и текст поздравлений, одинаковый для лиц и учреждений :

« Руководство, партбюро, местком и комитет ВЛКСМ главного управления водонапорного и канализационного хозяйства и сантехработ горячо и сердечно поздравляют Вас с наступающим праздником и от души желают новых производственных успехов, доброго здоровья и счастья в личной жизни ».

« Существуют, оказывается, и другие нелепые традиции... Оказывается, в областном управлении заведено такое неписанное правило : уезжает начальник на совещание в другой город и все руководящие работники прибывают на вокзал, чтобы лично пожелать ему счастливого пути.

« Возвращается начальник и на перроне видит те же лица, будто они с тех пор стоят и ждут. Начальник управления видит на вокзале своих подчиненных и у него никогда не возникает естественного вопроса :

— Товарищи, а почему вы, собственно, не на работе?

« Больше того, в последнее время « сопровождающие ли-

ца » аккуратно встречают и провожают не только начальника, но и всех трех его заместителей... Едет ли кто из руководителей учреждения в служебную командировку, или на Южный берег Крыма купаться и загорать, начальники отделов, как по команде, выстраиваются на перроне.

« Если бы такой странный порядок был заведен в одном месте, это бы еще куда ни шло. Беда в том, что « сопровождающей » болезнью заболели очень многие учреждения, и не только городские, но даже и районные.

« Подобные ветхозаветные традиции, которые отнимают время, мешают работать... »

Ну при чем же тут, милый фельетонист, « ветхозаветные традиции »? Ведь и теперь королей, глав государств обязательно и встречают, и провожают. А районный секретарь, хоть он и не король и не глава правительства, зато он глава района в « первом в мире социалистическом государстве ». Это тоже со счета нельзя сбросить!

***

Вдруг где-то (вероятнее всего, в ЦК КПСС), кто-то нажал какую-то кнопку и в « Правде » начали появляться фельетоны иначе написанные. В них сама партия только что не названа по имени.

« Правда » (8. 2. 1970). Фельетон предусмотрительно напечатан на шестой странице. Рядом с телеграммами из рубрики « Только факты ».

Начинается он следующим образом.

« Еремеича на нашей улице знали все. Все, у кого отлетела подошва или начали течь сапоги, шли к Еремеичу. Он был мастером-универсалом и как утверждают остряки, мог восстановить ботинки по каблуку.

« Трудился он в комнатке рядом с булочной и его можно было там отыскать и рано утром, и поздно вечером. В тех случаях, когда сапожник на работу не выходил, на двери была записка : « Еремеич хворает » или « Еремеич гуляет на свадьбе ». О себе он говорил в третьем лице.

« Никакой вывески над его дверью, насколько я помню, не висело ».

Эта длинная выдержка понадобилась нам для того, чтобы напомнить читателю, в каких условиях трудился пролетариат, прежде чем великая октябрьская революция освободила его от угнетения капиталистами. А как обстоит дело с Еремеичем, представителем освобожденного пролетариата, в непосредственной близости к « сияющим вершинам коммунизма », рассказано дальше.

Прежде всего прибили железную табличку : « Сапожная мастерская артели имени Горсовета ». К Еремеичу посадили приемщицу, затем в комнатке « поставили фикус », « расстелили ковер », « соорудили стеклянно-фанерный скворешник и посадили в него кассиршу. Над выходом повесили транспарант : « Ремонт модельной обуви », а над столом приемщицы — объявление : « Кожаных подметок мастерская не ставит ».

« А Еремеич всё сидел в углу и стучал молотком.

« Потом в связи с борьбой за улучшение обслуживания населения мастерская расширилась : в ней появилась должность заведующего. Булочную выселили, в помещении сменили ковер, повесили портьеры и прейскурант. К фикусу добавили пальму.

« Вышла стенная газета, передовая которой начиналась словами : « Лев Толстой тачал сапоги и видел счастье в труде ». Газета призывала коллектив поднять культуру.

« Над входом укрепили плакат из зеркального стекла : « Ателье мужской и женской обуви », а над столом приемщицы еще одно объявление : « Обувь на синтетической подошве ателье в ремонт не принимает ».

« А Еремеич всё сидел и стучал... »

Всё развивалось по один раз заведенному порядку : вывески менялись на более солидные, обстановка тоже менялась на более модную, штат разрастался, а очереди увеличивались, потому что « Еремеич всё стучал », оставаясь в знаменательном единстве.

Время шло, управление сапожной бывшей мастерской всё улучшалось, и наконец Еремеича, за ненадобностью, уволили, а на помещении повесили новую вывеску : « Почини сам ».

« Деятели местной промышленности перевели его на самообслуживание то ли потому, что не желали отставать от времени, то ли по той причине, что сапожников не осталось и все стали начальниками ».

С большим сожалением отказываемся от дальнейшего цитирования. Красочное описание того, как писатель чинил собственную обувь, мы вынуждены пропустить за недостатком места. Но « концовку » передадим.

— « Ты что тут делал?

— Да вот подбивал...

— Хочешь, я тебе дам домашний адрес Еремеича? Старик пока жив и старым знакомым не отказывает.

« Адресок я с радостью записал, потому что не знаю, как дальше будет с ремонтом обуви. То ли он действительно пойдет по линии самообслуживания, или как-то по другому ».

Фельетон этот — почти фотография, он написан с полным

знанием всех обстоятельств, которые сопровождают сложное дело починки башмака в царстве социализма. Так и хочется повторить знаменитую фразу : « Умри, Денис, лучше не напишешь ».

Нас мучит только один вопрос : кого теперь обвинят в « клевете на советскую действительность »? автора или редакцию?

***

22 февраля, опять на шестой странице, появился новый « юмористический рассказ » : « Неуязвимый Зудяков ».

В свое, не такое уж далекое время, в советской печати очень много места уделялось « тунеядцам », « захребетникам », « колымщикам »... Людей так обозначенных хватали, судили, ссылали в места не столь отдаленные.

И вот теперь выясняется, что этих самых тунеядцев и захребетников расплодила сама партия, да так успешно, что бороться с ними уже совсем не так просто. Тунеядцы эти сидят у нее решительно под самым носом.

« ...В кабинет управляющего вошел худощавый человек с узким лицом в затрепанном костюме. Он встал у двери и спросил :

— Звали?

— Да, да, подойдите ближе, товарищ Зудяков. Сядьте. Вот мне на вас жалуются. Плохо работаете. Лодырничаете, одним словом...

« Зудяков не спеша пригладил остатки волос на макушке и отвернулся от управляющего.

— Уволим, — жестко выговорил управляющий.

« Зудяков зевнул, снова погладил волосы и только тогда ответил :

— Ничего у вас не получится, Николай Семенович. Чтобы освободить от работы нужна длительная подготовка — вам же это известно : выговоры надо объявлять, взыскания накладывать... Согласие месткома опять же требуется... А то что получится? Вы меня, допустим, отчислите приказом, а я через суд опять к вам приду. И вы еще будете вынуждены за мой вынужденный прогул платить из собственного кармана... »

Продолжать не стоит. Зудяков отлично знает как эти дела делаются. Приведем только последнюю фразу рассказа.

« Говорят, плановик Зудяков и по сей день работает в этой конторе ».

Комментарии излишни.

Б. Борисов

Я. Н. ГОРБОВ

Литературные заметки

Алла Кторова. « Лицо Жар-Птицы ». Обрывки неоконченного антиромана. Издание Виктора Камкина. Вашингтон. 1969.

Во-первых — « обрывки ». Во-вторых — « незаконченный ». В-третьих — « анти »-роман. Еще не приступив к чтению читатель уже насторожен : и не « все », а только обрывки. При том даже и они незакончены. И новый термин : антироман. Андрей Седых, в рецензии о « Лице Жар-Птицы » в « Новом Русском Слове » прямо пишет, что значение слова « антироман » ему неизвестно и что только приставка « анти » содержит в себе уловимый элемент протеста. В « Русской Мысли » Ю. Терапиано ссылается на слова героини, от имени которой ведется повествование, которая говорит, что « не знает, почему она назвала « Лицо Жар-Птицы » обрывками неоконченного романа ». — « Это, впрочем не так уж важно » — добавляет Ю. Терапиано. Определения слова роман почти все сложны и напоминают о разницах точек зрений в различные эпохи. У Ларусса, например, находим, что « всякий роман, в большей или меньшей степени, всегда повествование о приключениях; но он может, в то же время, преследовать иные цели : философские, моральные, научные ». Даль пишет : « роман — это сочинение в прозе (?), содержащее полный, округленный рассказ вымышленного или украшенного вымыслами случая, события ». Littré, Брокгауз и Эфрон... Но вот слова автора, которому мы, русские, всегда уделяли и уделяем внимание исключительное : Пушкина. « В наше время, отмечает он, под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании ».

И, конечно, нигде никакого намека на « анти ».

Между тем у автора « Лица Жар-Птицы » не могло не быть некоего внутреннего побуждения, когда он решался ввести в наш литературный обиход новый термин. Без сомнения, при словесном обмене мнениями, все было бы уточнено. Но для этого надо пересечь Атлантический Океан, что нам, к большому нашему сожалению, недоступно. И приходится, стало быть, ограничиться домыслом, догадкой. Что-то словосочетание « обрывки незаконченного антиромана » говорит и уму, и сердцу. Слова же : « в моем сочинении не будет ни одного слова правды... и ни одного слова лжи » и « пусть моя книга будет неоконченным антироманом, пусть будет отрывочным полуро-

маном — но только не *законченным* романом », еще что-то прибавляют.

Настойчивость, почти требовательность предупреждений автора позволяет придать особый вес двум указаниям приведенным на первых же страницах : впечатлению от выставки искусства Мексики, которым подруга Влади (повествовательницы) Эмка Кукуй делится в письме : « Могучая вера : не верить в ад, понимать явления жизни *объемно*... принимать не только дары природы, но и их отсутствие... », и переданному откуда-то по радио замечанию : « картины французского художника Поля Синьяка были написаны способом пуантелизма, иначе говоря тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно. На них надо было смотреть издали. — Живопись нельзя нюхать, сердито говорил Синьяк неопытным зрителям, *отойдите подальше, дитя*... ».

Так что творение должно быть и « объемно », и « передано тысячами маленьких точек... », и не быть *законченным романом*, и не содержать ни одного слова правды и ни одного слова лжи!

Добавим, что во всех романах традиционно играет немалую роль любовь и часто подробные и проникновенные описания всего с ней связанного заслоняют некоторые стороны того, что Пушкин почел за главную характеристику романа, именно « историческую эпоху развитую в вымышленном повествовании », заслоняют настолько, что могут показаться наиглавнейшим содержанием книги. Может быть для того, чтоб было иначе, в книге Аллы Кторовой о любви речи мало. « Романическая » фабула весьма проста. Ника, обворожительная подруга Влади, всех покоряющая с первого взгляда, работающая в Институте Внешних сношений и встречающая там много иностранцев, влюбляется, взаимно, в приехавшего в Москву француза. Ничего, стало быть, нет ни особенного, ни удивительного. И во всякой другой стране, никто никакого внимания на такой случай не обратил бы. Но вот, — чтобы русская девушка могла выйти замуж за иностранца и покинуть Москву, нужно предпринять много хлопот во многих инстанциях и получить ряд с трудом выдаваемых разрешений и удостоверений. Всё затягивалось и завершилось благополучно только после вмешательства дочери посла Индии, обратившейся к самому Председателю Совета Министров. « Наш дорогой » позволил. И стала тогда Ника Жарова знаменитостью. На нее показывали на улицах : « это? эта », — и многие девушки, от зависти, запирались где могли, чтобы остаться наедине с самими собой, и плакали. О чувствах, о встречах, радостях или огорчениях не сказано почти ничего, и вообще этой стороне повествования отве-

дено разве что несколько страниц. Свои отношения с французом Ника держит в строжайшем секрете даже от подруг, и тайное становится явным лишь в самом конце.

Возвращаясь к определению искусства Мексики (его « объемности ») и к указанию на метод живописи Поля Синьяка (« пуантелизм »), — точнее : приняв и то и другое к руководству при попытке объяснения термина « антироман », можно, кажется нам, позволить себе сказать, что Алле Кторовой удалось — отвернувшись от традиций « законченности » — создать при этом нечто в высокой степени цельное. Отдельные главы ее книги, напечатанные в толстых журналах несколько лет тому назад, этого впечатления полновесности и « объемности » не оставляли. Теперь, когда в небольшой книге (214 стр.) А. Кторова соединила, исправила и дополнила то, что появлялось раньше, из под ее пера вышло одно из самых значительных, из самых веских и доказательных произведений нашей зарубежной литературы. Когда в России слово станет свободным, антироман « Лицо Жар-Птицы » займет привилегированное положение. Привилегированное потому, что в нем нет элемента простого репортажа, и что отвратительность режима передана в ряде отдельных картин, иной раз перемешанных во времени, одна другую заслоняющих или поясняющих. Советская действительность отражена так, что она больше « ощущаема », чем видима. Но до такой степени дошла слава Ники, такой вокруг нее сложился ореол, что автор решился на некое гиперболическое сравнение : Ника Жарова — « Жар-Птица » — покинула болото советского союза, перелетела через океан и уселась на верхушке Эмпайр Стейт Билдинг, — самого высокого здания капиталистических США.

Можно оттуда вместе с ней попытаться точно понять, почему тысячи маленьких точек могут стать чем-то « объемным ». И можно также найти объяснение тому, что Ника Жарова, попав в Париж, послала оттуда Владе открытку с изображением Ники Самофракийской... « Самофракийской Победы ». Ника Самофракийская когда-то потеряла в волнах Эгейского Моря свою голову, — на том месте, где должна быть голова, на фотографии была приклеена хорошенькая, знакомая мордашка и написано : « это я », — уточняет повествовательница. Если сравнить с этим слова матери Ники, которая в разговоре с приятельницей Сюсей Сюрмюль сказала, что долго искала имя для дочери и, наконец, « нашла, придумала : Ника! Мало того, что это старинное русское имя, даже в Святцах есть. Нет, мало этого! Представь! Это имя значит — Победа!... », если к этому присовокупить последнее « изречение », записанное Никой Жаровой в особую тетрадь перед тем как уехать во

Францию, а именно : « Отказываюсь быть в Бедламе нелюдей (Марина Цветаева) », то, кажется нам, некоторые стороны замысла антиромана будут довольно отчетливо очерчены.

Уехав заграницу Ника победила. Но ее победа не полная. Не пишет ли она из Парижа : « ...кричу, что никогда не вернусь обратно в наше болото, а сама люблю это болото больше всего на свете ». Можно, как будто, допустить, что предварительным условием возвращения Ника Жарова считает коренную перемену в России, что вполне совпадает с заключением Ю. Терапиано, который пишет : « Ника, быть может, всем своим существом олицетворяет независимость суждений и волю вырваться на простор — к свободе ».

Глубокий замысел романа, его конструкция, необыкновенная набюдательность автора и послушная его память, редкое — в наше время — умение сказать многое в немногих словах, к чему надо добавить строгое чувство меры, плюс ограниченные рамками художественной передачи « образцы » современного московского жаргона, в частности преломлений его в говорке детей и подростков, всё это, вместе взятое, придает « Лицу Жар-Птицы » необычайную оригинальность, весьма, на наш взгляд, привлекательную. Действующие лица, каждому из которых присвоена яркая характеристика, многообразие складывающихся между ними и распадающихся отношений, удивительная в простоте своей перетасовка эпох, когда, перешагнув через обе « мировые » и революцию, повествование увлекает читателя во времена « нашествия двунадесяти языков », — всё красочно, сочно и живо. Отметим в частности упоминание золотого колечка с тремя зелеными хризолитами, увезенного Наполеоновским офицером во Францию, там полтораста лет прогостившего и вернувшегося в Москву на пальце жениха Ники Жаровой, потомка этого наполеоновского офицера. Настолько кажется автору всё относящееся к этой давней эпохе близким, что посетило его искушение, не взять ли эпиграфом Лермонтовские строчки : Скажи-ка, дядя, ведь не даром... В удивительном « противуречивом сочетании » с обязательным неверием стоит рассказ о том, как при упразднении Калитниковского кладбища, где покоился дед Влади Колотушкиной, выяснилось, что тело его не тронуто тлением. Об этом, с трепетом в голосе, почти секретно, сказал разрывавший могилы землекоп. Необыкновенная доброта и глубокая вера деда были, впрочем, известны и о них хранилось нечто вроде предания. И тело его—почти, можно сказать, мощи! — было оставлено на месте. Приемная же мать Влади Дашонка голосила :

« — Вот уж люди не ошибутся... Ему и прозвище от соседей было « святой »... Все его так звали. Святой да святой ».

Антироман « Лицо Жар-Птицы » очень « рельефен ». Вытекает ли такое впечатление из умело применяемого автором приема противупоставлений (действительности и вымысла, полной договоренности и намека, отлично построенных и отделанных периодов с вульгарностью советского говорка...) или из того, что сам выбранный матерьял « выпукл » и, в зависимости от освещения, отбрасывает тени то в одну, то в другую сторону, утверждать нельзя. Но всё же, даже рискуя впасть в некоторое преувеличение, берем на себя сказать, что только *красок* — только двух измерений — для того, чтобы воспроизвести картину теперешней русской действительности так, как она воспроизведена в « Лице Жар-Птицы », могло бы не хватить. Глубина книги скульптурна и уж во всяком случае больше напрашивается сравнение с барельефом, чем с гравюрой или живописью.

Три хохотушки, по прозвищу подруг и педагогов « трищетки и три-пачки », Владя Колотушкина, Ника Жарова и Эмка Кукуй — вот, в известной мере, триединый герой антиромана. Внимание уделенное автором каждой не одинаково. Эмка Кукуй обрисована менее четко. Естественно, что повествовательница Владя Колотушкина заполняет первый план. Но тотчас же за ней, временами почти с ней сливаясь, несколько таинственная Ника Жарова — по прозвищу Птица. Возможно, что эта таинственность стоит в связи с нигде, правда, не формулированным, желанием автора придать Нике собирательное значение. Например, глядя на нее, один из ее поклонников Левка Геландер « подпирал свою Левитановскую щеку и начинал смотреть в одну точку глазами полными многовековой скорби своего народа. — А русское у нее лицо! — говорил он, — типично русское. А я смотрела на Нику и вспоминала Наташу Ростову, Фленушку и Домну Платоновну, воительницу Лескова ».

Нельзя не остановиться на родословных. Владя — Владилена — Колотушкина дочь краснопресненского большевика ткача, доморощенного поэта, потомка извозчиков и ямщиков, читателя Карла Маркса, склонного к выпивке и покинувшего семью, вследствие чего Владю воспитала его двоюродная сестра, бывшая беспризорница Дашонка, женщина душевной отзывчивости из ряду вон выходящей. Совсем простая, почти грубая, она непременно хотела вывести порученную ей девочку « в люди », для чего и прибегла к старым, совсем не социалистическим методам : надлежащего распекания, порки и т. д., что дало превосходные результаты : Владя получает все медали и делается старшим научным сотрудником Ленинской библиотеки. Родословная Ники Жаровой — « Птицы » — не столь

же безупречна. Среди ее предков были священники, одного из которых Император Наполеон Первый подверг издевательствам, заставив, — сам облокотясь на престол, — служить в архиерейском облачении в Успенском Соборе и выковыривать из икон драгоценные камни. Священник этот носил фамилию Пылай. После ухода французов он был, за подчинение насилию Наполеона, сослан в Соловецкий монастырь. А его брату, тоже священнику, пришлось за него расплачиваться. Ему буквально не давали проходу, настолько, что он подал прошение о перемене фамилии. Прошение было удовлетворено и из Пылая он превратился в Жарова.

Годы, охваченные повествованием, делятся на несколько периодов : времена Сталинские, война, период послевоенного террора, интремеццо Маленьков-Булганин и Хрущев. Но большой разницы между тем, как каждый из этих периодов отражается на быте, нет. Причиной тому служит главным образом возраст героинь и их приятелей и приятельниц. Все они молоды, точек сравнения с дореволюционным временем у них нет, то, что они видят кругом, кажется им естественным, нормальным. Рассказов же старших о том, как было « раньше », не приведено почти никаких. Конечно, есть указания на террор — так например отец Влади, авангардный большевик, ткач — поэт-самоучка и читатель Маркса побывал, как будто, в концлагере или в ссылке. Раз приведено замечание о его « реабилитации », значит, был и приговор. Не находим в разговорах и критики и негодования против советской власти по существу. « Крамольные замечания » касаются лишь быта. Сама же власть внушает только непоборимый страх. Действительно, есть от чего прийти в ужас — как то было с Никой и ее матерью, — когда оказывается, что девушку ежедневно поджидает чтобы за ней следовать большой черный ЗИМ, из которого, в один прекрасный день, выходит вежливый молодой человек, предлагающий помощь « одного очень высокопоставленного лица » в смысле приискания работы. В ЗИМе же кто-то, во время этого разговора, остается сидеть. И позже выясняется, что предложение исходило от самого Берии, который, по-видимому, и ждал ответа в автомобиле. Ника рассказала о происшедшем матери, которая от страха просто обледенела и запретила хоть слово сказать отцу : у него от этого мог бы случиться сердечный припадок. Этот вот образ медленно ползущего за хорошенькой девушкой роскошного правительственного автомобиля и то душевное состояние, которое он внушает, позволяет судить об отношении к власть имущим вообще. *Они* — всемогущие, бесконтрольные, от всех отделенные непроницаемой бюрократией, и *мы,* вынужденные приноравливаться к

быту и только на бытовые неурядицы — да и то осторожно — реагирующие. Находим в антиромане и пережитки « классовых » прослоек. Так, родители Ники и Владя с Дашонкой живут в одном и том же доме. Но первые в третьем этаже, в сравнительно удобной квартире, а вторые в полуподвале, откуда Дашонку иногда приглашают к « интеллигенции » (сказать к « господам » ведь нельзя) мыть полы, убирать, стирать, помогать по хозяйству и т. д. При этом мать Ники смотрит искоса на поползновения дочери дружить с « дворовой » детворой, просто ей даже это запрещает. Но Владя и Ника всётаки сближаются, позже сидят в школе на одной парте и становятся неразлучными. А вот мнение Дашонки, вернувшейся в полуподвал после работы у Жаровых :

— Интеллигенция-то наша, вот уж интеллигенция, второе из той же тарелки, что и суп, есть не будет, — ку-у-льтурный, а погляди на мебель? Господи, что пылищи-то на всем! Окно пять лет не мыто, подойти страшно. Тамара Алексеевна сама в баню не ходит и детей не водит, купает дома. Ну невыносимо, прямо невыносимо.

Немногочисленные и краткие соприкосновения с членами партийной знати на фоне беспрерывно одна другую сменяющих бытовых зарисовок, при всяком удобном поводе выскакивающий вперед архи-вульгарный, но очень искусно передаваемый, советский жаргон-говорок, прогулки, пьянки, лишенный всякой утонченности советский « флирт », всюду проскальзывающий интерес к « иностранному » (в особенности к иностранным издельям), много грубости в отношениях между людьми и много зависти, крупицы отличного юмора, то тут, то там проскальзывающие « пережитки » былой религиозности, — отражение какой-то немой традиции, — умение довольствоваться малым и часто выступающая из под полукультурности, из под еще только начинающей складываться просвещенной надстройки, когда то бывшая одной из преимущественных характеристик русских — сердечность, — вот, суммарно говоря, фон антиромана и его материал. Построенное в согласии с методом « пуантилизма », кажущееся при первом чтении запутанным, искусственно усложненным, « сбивающимся с такта » повествование, — если на него взглянуть глазами Жар-Птицы со шпиля Нью-Йоркского небоскреба, оказывается в общем простым. В известном смысле это отражение и того, что на поверхности, и того, что под ней, и видимого, и подразумеваемого. Глядя на него издали, что, собственно, обозначает — « прочитав его несколько раз », отдаешь себе отчет в том, что у термина « анти », у указания на « обрывки » и на неокоченность их, у требования не усмотреть в книге *законченного* романа, есть

прочные основания. И не в манере писать (очень оригинальной) дело. Дело в миросозерцании автора. То, что Алла Кторова видела вокруг себя в советчине, было ей до малейших подробностей понятно, было, как бы, родным. Но было всё это в полном несоответствии с тем, что вытекает из понятия « свободы ». Символическая героиня Ника победила этот гнет, оказавшись заграницей, — где могла полной грудью дышать воздухом независимости, где за пределами « бедлама нелюдей » нашла то, чего в « бедламе » нет. Но чтобы победа стала завершенной, нужно, чтобы « бедлам нелюдей » уступил место « небедламy людей », нужно чтобы в России дышали тем же воздухом, что в мире свободном. Своего рода доказательство, что это именно так, можно найти в оставшейся в Москве подруге Ники — Владилене (повествовательнице). После того, как аэроплан улетел, всё стало серо, всё стало уныло. Точно « половину жизни у меня отняли », замечает Владя. Самое ее имя Владилена — составное сокращение Владимир Ленин — стоит в прямом противоречии с именем Ника, лицо которой, Лицо Жар-Птицы, было прислано Владе приклеенным к открытке, изображавшей Самофракийскую Победу.

Без подруги, к которой она испытывала что-то, что можно назвать мистической любовью, она в ожидании ее возвращения иссыхает. Ей мерещится даже, что Ника вернулась и она слышит ее голос, бежит к « Соломенной сторожке », где, как ей кажется, назначено свиданье, и кричит : Птица, птиц!... Но никого нет. Для того чтобы свидание стало действительно возможным, нужно, чтобы пятидесятилетнее марксистское начетничество было побеждено здравым смыслом.

Нельзя — повторяем мы — передать столь многообразную, столь оригинальную и так ярко и выпукло написанную книгу с помощью пересказа и цитат. Остается, как будто, посоветовать : купите и прочтите. Но это слишком просто. Надо сказать : купите и прочтите, но не раз, а несколько раз. И тогда станет ясно : и почему это антироман, и почему не « законченный роман », и почему обрывки. В своих поисках, в своих попытках добраться до самого основания жизненной сущности в « бедламе нелюдей » Алла Кторова, иной раз, бывает вынужденной остановиться : дальше слишком темно, дальше страшно. Вникая в подлинное содержание тамошнего быта, она не может написать « законченый » роман : очень уж близко само окружающее к « социалистическому реализму ». Дозволено, кажется, сказать, что термин « антироман » это абсолютный, негодующий протест против социалистического реализма не только в литературе, но и в подсоветской действительности.

Я. Н. Горбов

КН. С. ОБОЛЕНСКИЙ

О спектре современной России

Так можно было бы озаглавить бо́льшую и по своему содержанию наиболее значительную часть сообщений и прений на расширенном совещании « Посева » и « Граней », состоявшемся во Франкфурте в прошлом ноябре. Откликаясь на них теперь, когда весь этот материал в основном напечатан в двух номерах « Посева », февральском и мартовском, мы прежде всего отвечаем, хоть и с невольным запозданием и в несколько иной форме, на приглашение, в свое время любезно присланное в редакцию « Возрождения », — непосредственно принять участие в этом обсуждении. В тот переломный для нас период, уежать из Парижа хотя бы только на несколько дней было невозможно. Итак, побеседуем теперь, с серьезностью и прямотой, которых современное состояние России требует от нас всех.

Это состояние, конечно, очень сложно, не только из-за препон, чинимых всякому естественному развитию со стороны насильнической власти, но и по самому характеру того, несомненно спасительного, но еще очень беспорядочного брожения, которое в России происходит. На Франкфуртском совещании об этом говорилось много и откровенно. В отношении многих явлений оценки расходились, многое так и было оставлено под сомнением, и это совсем не плохо, наоборот, хорошо : когда нет достаточных данных, лучше поставить вопросительный знак и подождать дальнейшего выяснения дела. Но есть и такие вопросы, о которых, мне кажется, уже можно высказаться более определенно, чем это было сделано на совещании.

Очень много внимания на нем было уделено отношению к оппозиционерам-« ленинцам », к так называемой легальной оппозиции, в связи с этим — печальному опыту коммунистического реформизма в Чехословакии, а также вопросу о том, насколько брожение, происходящее главным образом среди интеллигенции, встречает сочувствие более широких масс. Сразу отметим, что всё это — вопросы смежные, — но путать при этом разные явления нельзя.

О том, что искренние « ленинцы », такие, как ныне покойный Костерин, заслуживающие величайшего уважения, представляют вчерашний, а никак не завтрашний день, мне лично довелось писать в « Возрождении » задолго до Франкфуртского совещания. С ними нам по пути в борьбе с теперешней властью, но стараться затушевывать идейное несогласие с ними

нельзя. Означает ли это, однако, что то же самое нужно сказать обо всем оппозиционном движении в целом, которое старается оставаться в пределах « советской легальности »? Конечно, нет. Эта легальная оппозиция в целом гораздо серьезней и сложней.

Между тем, на совещании, во вступительном докладе Е. Романова, это « общественно-политическое движение, наблюдаемое на поверхности », прямо обвинялось в том, что оно неспособно « правильно ориентировать » « радикальные круги нашего общества », потому что у него « отсутствует тезис о применении насилия в случае необходимости ». Притом Е. Романов считает « радикальные круги » более значительными « по своему размаху и численности », что оспаривалось другими участниками совещания. Вряд ли и возможно сейчас определять численное соотношение различных секторов современной русской общественной жизни, но главная неясность здесь, мне кажется, в другом : как понимать ту « радикальность » настроений, о которой идет речь? И правильно ли, в особенности, сводить ее к « тезису о применении насилия в случае необходимости »?

Самое « радикальное » отвержение не только практики, но и доктрины и всего « мировоззрения » марксизма-ленинизма может, ведь, сочетаться с вполне определенной неохотой дойти до « применения насилия ». И это вовсе не из какого либо запоздалого толстовства, а из соображений самых реалистических, притом совсем не обязательно шкурных. Есть очень много данных о том, что урок 17-го года даром не пропал и самые широкие круги населения отталкиваются от всякой возможности повторения « всероссийского кабака ». В этом, несомненно, одна из главных причин относительной пассивности современных российских масс, может быть, даже самая главная. В своем заключительном слове сам Е. Романов привел выдержку из одного письма П. Литвинову, которая гласит :

« Мы готовы пойти за вами, — но куда вы хотите нас вести? И каким методом вы хотите привести нас к цели? Нас слишком много звали, мы слишком много уже ходили тяжелыми путями, чтобы еще раз итти, не зная, за что, и не зная, каким способом добиваться достижения цели ».

Это и есть сейчас самая важная проблема в России. Чтобы всколыхнулись « массы », им нужно показать путь не слишком « тяжелый » и такой, чтоб было известно, куда он ведет.

Но в этом направлении как раз и работает « легальная оппозиция », по крайней мере ее наиболее веская часть. В том же своем *заключительном* слове, Е. Романов внес некоторое уточнение своего термина « радикальные круги », пояснив, что

это те, « которые желают кардинальных изменений режима », а не те, « кто немедлено хочет переходить к вооруженным действиям ». Скажем, что о « немедленных » вооруженных действиях в сколько нибудь крупном масштабе в России сейчас едва ли можно вообще помышлять и вопрос сводится к тому, чтобы вообще избежать чрезмерных потрясений, а не только « немедленных », — добиться « кардинальных изменений режима », не превращая Россию снова в « кабак ». И не только « кардинальных изменений режима », — здесь я позволю себе « радикализм » гораздо более определенный : конечной целью должна быть полная замена этого режима совершенно иным.

Может ли привести к этому « легальная оппозиция »? Может, если предъявляемые ею требования достаточно « радикальны » и вытекают из обстановки достаточно созревшей.

Обратимся теперь к документу, который сам по себе еще не мог быть принят во внимание на Франкфуртском съезде, — он появился только на этих днях, но элементы, особенно выпукло в нем представленные, начали проявляться уже довольно давно. Взглянем во-первых на те конкретные решения, которых добивается от советской власти новейшая записка Академика Сахарова, Р. Медведева и В. Туршина.

— Признание необходимости более решительной демократизации особым заявлением высших органов партии и правительства;

— Свобода информации о внутреннем состоянии страны и по всем вопросам, представляющим общественный интерес;

— Свободный доступ информации из заграницы;

— Отмена предворительной цензуры;

— Амнистия политических заключенных и опубликование протоколов проведенных над ними процессов;

— Отмена прописок на паспортах внутри Советского Союза;

— Образование автономных объединений для управления промышленностью;

— Свобода выборов в партийные и советские органы;

— Расширение прав местных, областных и центральных советов;

— Восстановление прав всех национальностей, насильственно переселенных при Сталине.

Каждое из этих требований не содержит ничего неожиданного — все они так или иначе уже предъявлялись внутренней оппозицией в Советском Союзе. Здесь они только собраны вместе. Но нет никакого сомнения в том, что принятие всех

этих требований означало бы бесповоротно начало конца тоталитарно-партийного строя в России.

Говорим : только *начало* конца, — но *бесповоротно*. Совокупность всех этих мер, начиная со своего рода « манифеста » о демократизации, произвела бы в стране полный психологический переворот, — а всякая власть, всякий режим есть всегда прежде всего феномен психологический. Сами авторы записки настолько ясно понимают значение подобной встряски, что предлагают многие из этих требований удовлетворить не сразу, а постепенно, и предусматривают для их осуществления срок в четыре — пять лет. В их представлении, такой « спуск на тормозах » должен предохранить от внезапного « срыва », слишком страшного для теперешних правящих слоев, но, добавим, и для страны, для большинства ее населения. Вряд ли, однако, сами авторы могут твердо рассчитывать на соблюдение предлагаемого ими « календаря ». С первых же шагов по введению свободной печати и информации, свободных выборов и т. д. весь предусматриваемый ими процесс может ускориться чрезвычайно. Даже внутри КПСС, введение действительной свободы выдвижения кандидатур и выборов способно изменить « радикально » самый характер правящей партии, как это происходило в Польше и в Венгрии в 1956 г. и в Чехословакии в 1968. Пока не сказывалось внешнее давление со стороны Советского Союза, коммунистические партии этих стран теряли свой тоталитарный характер, они распадались или превращались в нечто совершенно иное, переставали быть самими собой в « марксистско-ленинском » смысле, что и вызвало паническую реакцию Кремля на чехословацкую « весну ».

Партийно-коммунистических реформаторов Чехословакии на Франкфуртском совещании критиковали много и сильно, за неспособность порвать окончательно с партийной догматикой и вести освободительную борьбу до конца. Вполне ли это справедливо? Суть дела ведь не в том, правильно ли предугадывала группа Дубчека контуры будущего общественного и политического строя, а в том, что она, по всей видимости честно, подчинилась народному порыву к свободе, после чего уже сам этот порыв повел к полной ликвидации существующего режима в более или менее короткие сроки. А не произошла эта ликвидация в Чехословакии лишь потому, что она вообще невозможна в отдельности ни в одной из малых коммунистических стран — до тех пор, пока тоталитарно-партийный строй не ликвидирован в самой России. Теперь это ясно всем, и ошибка чехословацких реформаторов была в том, что они этого не учли. Вопреки тому, что мы сами в то время думали, их поражение, в этих условиях, было неизбежно, — но их попытка

может еще принести величайшие плоды, тем внутренним напряжением, которое она вызвала во всем коммунистическом мире, не исключая теперь и России. И она всётаки показала принципиальную возможность выйти из тоталитарного тупика путем сравнительно мирной, а не стихийно разрушительной революции.

Эта возможность и есть именно то, что способно « соблазнить » некоторые — и значительные — части теперешних правящих слоев Советского Союза, а вместе с тем и преодолеть в широких народных слоях инстинктивную боязнь слишком рискованных перемен. Предлагая, в общем, постепенную ликвидацию тоталитарного строя, Д. Сахаров, Р. Медведев и В. Туршин делают ставку, очевидно, на это. Предлагать режиму, чтобы он встал на путь самоликвидации, — дело, конечно, тяжелое, но имена авторов записки позволяют нам думать, что есть действительные основания не считать это делом безнадежным. Нужно признать, что аргументация, приведенная ими в самой их записке, очень сильна. Ею теперь и займемся.

Очевидный застой экономической, а теперь и научно-технической жизни страны, уже приведший к проигрышу пресловутого « соревнования » с Америкой (проигрышу всестороннему, а не только в Космосе) совершенно справедливо ставится в связь с гнетущей атмосферой всеобщего недоверия, с предвзятой подозрительностью ко всякому живому творчеству, царящей среди « выдвиженцев », занятых только своим личным интересом и для этого клянущихся в верности партии. Отмечено даже и то, что в этой отравленной атмосфере не только промежуточные инстанции, но и самые высшие зачастую получают неверную информацию о действительном положении дел, а потому и не могут принимать правильных решений. Вся эта картина, давно известная и нам, и очень многим в Советском Союзе, дает авторам записки полное право сказать, что самые необходимые экономические реформы не могут состояться — « без реформ в области управления и информации. Научный подход требует полноты осведомления, непредвзятой мысли и свободы творчества. Пока нет этих условий (и не только для немногих личностей, но и вообще для масс), разговор о научном ведении хозяйства останется одной болтовней » (за неимением пока русского текста, переводим с французского, напечатанного в « Ле Монд »).

Бросается в глаза, что это — то же самое, неизбежное, переплетение экономических факторов с политическими, которое три года тому назад вызвало общий « сдвиг » в Чехословакии : решившись на самом деле « сдвинуть » хозяйство с мертвой точки, пришлось « сдвинуть » Новотного, а за ним и всю

« систему », которую он воплощал. Закономерность та же самая : или полная неподвижность, застой, или движение сразу во всем, отход во всем от мертвого « вчера », искусственно продлеваемого сегодня.

Речь, таким образом, идет о том, чтобы через два года после пражской « весны » предпринять, в общем, то же самое там, где такую « весну » только и можно провести до конца, а именно в Советском Союзе. Но всётаки — что же может побудить к этому какую-то — и достаточно значительную — часть правящих советских кругов, несущих на себе ответственность за подавление чехословацкого реформизма?

С одной стороны, не следует недооценивать того факта, что за два года партийной реакции застой в Советском Союзе стал настолько катастрофическим, что уже и официально пришлось бить тревогу на самых верхах. В этом отношении, гниение режима за два года сильно продвинулось вперед и не случайно теперешняя записка трех ученых появилась в момент, когда признаки какого-то внутреннего кризиса стали заметны в самом Кремле. Заключительная фраза записки — что скоро может стать « слишком поздно » — звучит и в этом смысле теперь гораздо более грозно, чем до печального партийно-реакционного опыта последних лет. Но думается, что и не это может оказаться самым решающим, а то, что авторы записки приберегли почти под самый конец : « опасность тоталитарного китайского национализма ». Эта опасность и есть то, что окончательно запрещает Советскому Союзу притти в состояние полу-паралича и превратиться в « провинциальную державу второго разряда », к чему он по словам авторов записки в настоящее время идет.

Нет ничего неожиданного и в том, что авторы записки указывают на необходимость отказаться от « чрезмерных мессианских претензий ». Одной китайской опасности достаточно, чтобы убедиться в недопустимости подчинения национальных интересов России задачам мировой коммунистической революции. Но, конечно, отказ от этой « мессианской претензии » придает еще больше остроты тем требованиям внутреннего порядка, которые выдвигаются в записке. Ничего не поделать : невозможность сговориться с красным Китаем, теперь опять становящаяся совершенно явной, требует именно « радикальной » перемены во всем.

Остается еще одна возможность, та, о которой упоминалось на совещании « Посева » и « Граней » : отчаянное решение наиболее « непримиримых » элементов КПСС отдать себя и Россию под власть Мао Цзе-дуна. Такую попытку нельзя считать вовсе исключенной. Но надо всётаки сказать, что приве-

сти в Москву китайские войска — совсем не то же самое, что высадить советские войска в Праге.

Тут и открывается возможность придать освободительному движению тот подлинно всенародный характер, которого оно еще не приобрело. « Массы », боящиеся чрезмерных потрясений, всётаки предпочтут некоторую — необходимую — встряску превращению России в какой-то улус возрождаемой Мао Цзе-дуном великомонгольской империи. Отталкивание от этого, по-видимому, всеобщее, оно — в крови, в подсознании нашего народа. Амальрик может, вполне по-печорински, « жадно ждать » разгрома России китайцами, — другого такого примера покамест, кажется, нет. Пользуюсь случаем, чтобы исправить допущенную мною ошибку : из сведений, за последнее время появившихся в печати, вытекает достаточно ясно, что Амальрик — не псевдоним, это настоящая фамилия молодого историка, несколько лет тому назад подвергшегося некоторым репрессиям за « волнодумство »; но это ничуть не меняет моего убеждения в том, что его катастрофические предсказания могут только отбросить в лагерь партийных « охранителей » очень многих людей, ищущих разумного, а не самоубийственного выхода. Это в особенности относится к тем настроениям, которые можно назвать традиционно-русскими в наиболее положительном смысле, — тем, которые отразились, например, в статье Русланова, опубликованной в « Гранях » и мною в свое время подробно разобранной, но отразились также и у некоторых авторов, легально издаваемых в СССР. Знаю, что о Солоухине, например, говорят очень разно, но дело совсем не в его личности, о которой из заграницы судить затруднительно, а в наличии тех настроений, которым дается некоторый выход в его произведениях. И самый факт, что этот выход дается, доказывает распространенность и значительность таких настроений. Нет сомнения и в том, что особенно теперь власть старается людей так настроенных удержать на своем корабле, под предлогом охраны государственного начала как такового и просто даже русского национального лица. Но они-то в особенности и могут внять ученым авторам записки, говорящим о превращении России в державу « второго разряда » в тот самый момент, когда ей с Востока угрожает китайская опасность.

Без участия этих элементов трудно даже представить себе перестройку (не слом) государства, к которой призывают, по смыслу, Сахаров, Медведев и Туршин. Но если обратиться к идейным корням этой традиционной русскости, то сразу станет ясно, что она гораздо « радикальнее » противостоит марксизму-ленинизму, чем сами ученые авторы записки. У этих последних, критика режима всё же не идет дальше его сталин-

ских « извращений » и не касается основной духовной извращенности, присущей ему от начала. На это слабое место у Академика Сахарова и было уже справедливо указано в известном выступлении представителей интеллигенции Эстонской ССР. А тем самым уже сказано, что предлагаемая *реформа* строя немедленно освободит в России и те духовные силы, потенциально гигантские, которые вполне способны полностью его *преодолеть*. Эту возможность, по всей вероятности, сознают даже и самые « умеренные » представители « легальной оппозиции », — но этим не исключается их основная ставка на более или менее эволюционный, а не катастрофический исход.

Сама эта эволюционность зависит, конечно, от податливости власть имущих (теперешних, или тех, кто может оказаться у власти в обозримом будущем). Даже при начатом « спуске на тормозах », некоторая доля насильственных действий может стать необходимой в тот или иной момент, — но понятно, что оппозиция, добивающаяся легального действия, не кричит об этом заранее без нужды. Впрочем, мы и в записке трех ученых авторов уже отметили предупреждение о том, что может стать слишком поздно. Насколько знаем, в иных случаях это высказывается и гораздо более определенно, даже в глаза представителям власти : если окончательно задушить тот протест, который старается не выходить за рамки легальности, то следует ожидать совсем других форм протеста — со стороны теперешней молодежи...

Еще не видно, чтобы этот аргумент подействовал на власть, но его объективная вескость возрастает беспрестанно. Мрак в России сейчас несомненно сгущается. Даже очень талантливые люди там теперь совсем спиваются с горя, от окружающей беспросветной тоски, но поразительно то, что эти же люди, сами уже превращающиеся в развалины, сохраняют твердую веру в торжество творческих сил, сосредоточенных в современной молодежи. Вот почему ученые авторы всё той же записки имели полное право сказать, что « грубое насилие и завинчивание винта не разрешат ни одной из наших проблем, а только обострят их до крайности ». И вот почему на самих советских верхах, отнюдь уже не олимпийски безмятежных, кто угодно может теперь притти к тому заключению, что пришла пора спасаться и предпринимать, пусть и не лишенный риска, спуск на тормозах.

Этот их спуск даст немедленную возможность подъема всех творческих сил страны. Весь спектр теперь еще заглушаемых российских настроений станет стремительно проявляться и конкретизироваться. И именно духовный сектор, опирающийся на мировую и русскую традицию, должен будет сыграть

тогда самую решающую роль. Знаем, что сейчас и в этом секторе есть еще немало сумбура, метаний в разные стороны, увлечений даже самыми странными сектами и любыми эзотериками, какие под руку попадут. Есть всё же одна основная, подлинно творческая линия русской мысли и русской духовности, приблизительно та, которую на живых примерах недавнего прошлого показывает в этом нашем выпуске проф. Н. С. Арсеньев. Уже сейчас очень многое говорит за то, что больше всего иного она способна оживить и преобразить возникающую новую историческую действительность. На восстановление этой линии, идущей от лучшей части наследия славянофилов и до реформаторских идей кн. С. Н. Трубецкого ,стоит и нам работать уже сейчас в эмиграции.

Кн. С. Оболенский

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

« LA PENSÉE RUSSE »

Главный Редактор : Зинаида ШАХОВСКАЯ

« Русская Мысль » — самая большая русская еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг на 12-ти страницах большого формата и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи о вопросах религии и философии, о науке, литературе и искусстве, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

Все, кто интересуется русским вопросом, читают

« Русскую Мысль »

Адрес РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ :

LA « PENSÉE RUSSE », 91, rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris 10e

Tél. : 824-83-16 C.C.P. 5883-44 Paris

Прием по делам редакции и конторы ежедневно от 10 до 18 ч., кроме суббот и воскресений.

В экстренных случаях звонить в типографию: 636-01-29

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА : на 3 мес. — 22,50 фр.
на 6 мес. — 42,00 фр.
на год — 84,00 фр.

ДЛЯ ЗАГРАНИЦЫ : на 3 мес. — 25,00 фр.
на 6 мес. — 48,00 фр.
на год — 96,00 фр.

Цена отдельного № 2,00 фр.

Le Gérant : A. Obolensky. — Impr. : P. I. U. F. — 3, rue du Sabot Paris 6e.

Наши представители за-границей:

АВСТРИЯ : Frau Kira Wolff, Bartensteingasse 8, Wien I.

АРГЕНТИНА : Mr. Jorge Knircha. Villa Balester, Jose Hernandez 149 dep. 2, Prov. Buenos-Aires.

БЕЛЬГИЯ : « La Sentinelle ». Belgique. Boîte postale 31. Ixelles-4 (Compte postal 3925.03).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : Iskander Ltd., 56, Ennismore Gardens, London S.W.7

ГОЛЛАНДИЯ : N. V. Martinus Nijhoff-Librairie. B. P. 269, 9, Lange Voorhout. La Haye. Pays-Bas.

ЗАП. ГЕРМАНИЯ : Dipl.-Ing. N. Alimov. München 22. Liebigstrasse 16/II.

США : « Slavonic Bazaar », 31 Middle Street, Bridgeport, Conn. — 06603, Mrs. M. S. Kingston. Russian Book Store « Russ », 443, Balboa Street. San-Francisco, 18. Calif. 94118, U.S.A.

ВЕНЕЦУЭЛА : Mme G. Balitzky Sur 5, № 88. Caracas.

БРАЗИЛИЯ : Mr. L. Rubanov. Livraria « KNIGA ». Rua Quintino Bocaiuva, 22 - 2.º - S/8 — Caixa Postal 8405. Sao-Paulo.

АВСТРАЛИЯ : «Unification », 497 Collins St., Melbourne, C. I., Australie.

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Журнал « ГРАНИ » публикует произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

В частности, в « Гранях » были опубликованы произведения Б. Пастернака, А. Солженицына, М. Нарицы, В. Тарсиса, Евгении Гинзбург, А. Платонова и др.; материалы ряда подпольных журналов, документы и т. п.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Непосредственно из издательства — на 4 номера, включая переписку : **в США и Канаде** — дол. 7, **в Германии и во всех других странах** — НМ 26 или эквивалент в местной валюте. При подписке через представителей, соответственно : дол. — 10, НМ — 30. В розничной продаже : дол. — 2,50 НМ — 7,50.

Подписную плату следует посылать почтовым заграничным переводом или чеком в письме по адресу :

POSSEV-VERLAG

D 623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или банковским переводом на :

Konto 215 640, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

Из Германии удобнее всего пересылать на :

Konto 33 461, Postscheckamt, Frankfurt/Main.

ПОДПИСКА НА

НЕЗАВИСИМЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

принимается временно по адресу :

M. Serge Obolensky,

Chemin de la Côte-du-Moulin, L'Etang-la-Ville, 78 — France

C.C.P. 21148 15 — Paris.

Банковские чеки и почтовые переводы должны быть выписаны обязательно на имя M. Serge Obolensky с пометкой « для **Возрождения** ».

Спрашивайте « Возроджение » во всех русских книжных магазинах

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Во Франции :

на 12 номеров 80 фр.
на 6 номеров 45 фр.

Заграницей :

на 12 номеров 21 долл., или 8 фунтов ст. 8 шилл., или 80 НМ.
на 6 номеров 12 долл., или 4 фунта ст. 16 шилл., или 45 НМ.

Цена отдельного номера :

Во Франции : 8 франков.

Заграницей : 2,50 долл., или 1 фунт ст., или 9 НМ.

Не забудьте возобновлять Вашу подписку своевременно : от регулярного поступления средств зависит успех нашего издания.